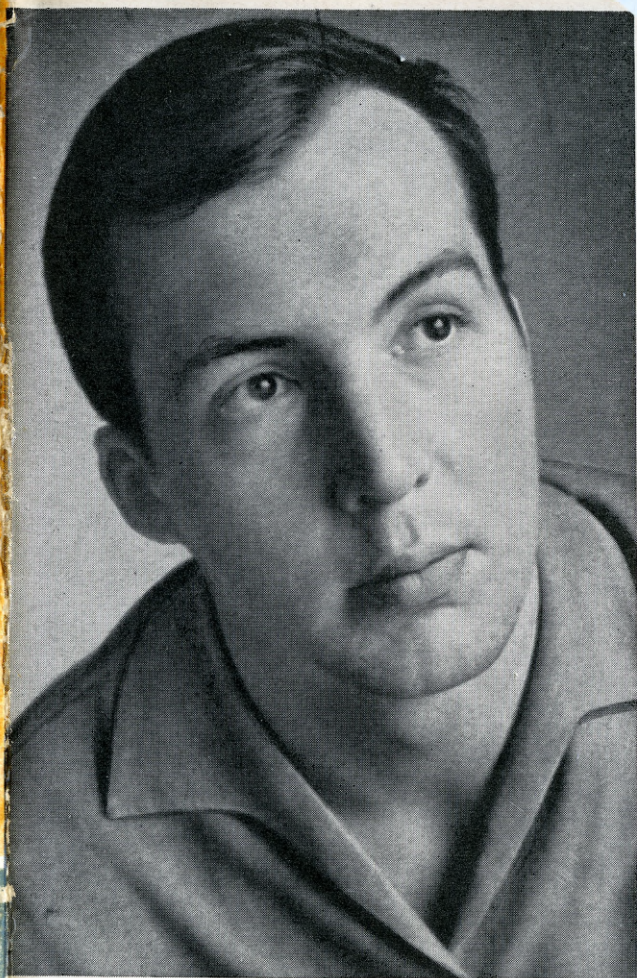
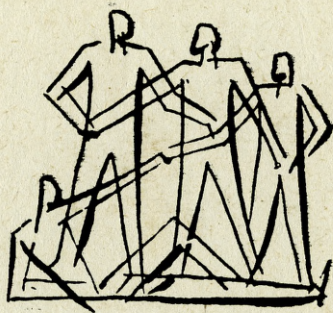


АНДРЕЙ
БИТОВ

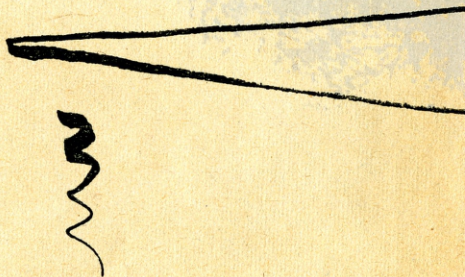
БОЛЬ-
ШОЙ
ШАР





СОВЕТСКИЙ
ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
ЛЕНИНГРАД
1963

АНДРЕЙ
БИТОВ





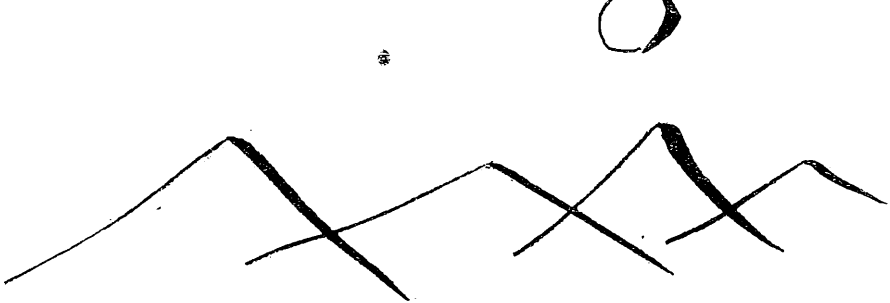
БОЛЬШОЙ
Ш А Р

P 2
Б 66

ОДНА СТРАНА

ПУТЕШЕСТВИЕ
БОРИСА
МУРАШОВА





ВОРОТА АЗИИ

НАЧАЛО

С детства я бредил Азией. Семеновы-Тянь-Шанские, Пржевальские и еще... Грум-Гржимайло — они ездили на своих верблюдах, стреляли своих яков, попадали в свои самумы и делали свои великие географические открытия. Грум-Гржимайло и Мурашов! Пржевальский кладет мне руку на плечо, а другой обводит даль. Там хребет Бориса Мурашова. Великий путешественник Мурашов-Монгольский на фоне открытого им дикого верблюда. Книжка из серии «Жизнь замечательных людей» —

фотографии: мать путешественника, отец путешественника, великий путешественник в детстве...

Я прибежал с книжкой к маме:

— Вот Пржевальский пишет... Как стать великим путешественником, какие нужны качества... А у меня все это есть: путешественником я родился, страстно я увлекся, научно я подготавлиюсь, характер я воспитаю, трудолюбие я разовью, а энергия — приложится... — говорил я, загибая пальцы.

Вот я студент Горного института. Я уже знаю, что белых пятен, наверно, и нет. Что последнее, может, досталось Грум-Гржимайле (чудо, а не фамилия!). И что вообще это детство. Но еще не знаю, что детство, может, то небольшое, чего не следует стыдиться.

Я мечтаю о Японии, стране безукоризненного вкуса и тысячелетьями отточенного движения... Вот я сижу на корточках в такой красивой японской одежде. Раздвигаются створки разрисованной журавлями двери. Это за моей спиной, но я не обращаюсь: я знаю, почему они открылись и кто там. Я знаю, как она подойдет, как поклонится, как поставит передо мной чашку и снова поклонится, и как будет выходить, пятясь и кланяясь, и как сдвинет за собой створки, словно уходя в стену. А я не меняю ни позы, ни выражения лица: я все это знаю. Тыщу лет, как это всем известно. Известна эта комната и как в ней что стоит. И эта женщина. И я, который все это знает...

Япония... Это кончается тем, что я женюсь на курносой и рыжей девчонке, такой нелепой и такой

славной. И теперь Япония все реже заходит ко мне.

А открытия? Моя специальность — ковырять землю, и я уже знаю, что это — работа. Ведь я все-таки вырос.

И вот практика. Уезжаю на все лето в Среднюю Азию. Еду работать. Но еду я в Азию, с которой меня связывает детство.

С ЧЕМ Я ЕДУ?

Ишак. Верблюд. Изюм — кишмиш. Аул — кишлак. Каракумы — Кызылкум. Басмачи — калым. Чайхана. Скорпион. Арык. Тибетейка — халат. Базары. Ташкент — город хлебный. Насреддин в Бухаре.

Я знаю и больше и не больше этого.

ЕЩЕ ТРИ НАЧАЛА

В первый раз Азия началась в Москве на Казанском вокзале. Сначала в очереди за билетами. Потом на перроне, у поезда.

Навстречу мне прошла девочка в ярком широком платье до земли. Я обернулся ей вслед: из-под тибетейки змеилась тьма черных косичек.

Непонятливые старики окружили тележку газ-воды и пытаются перелить ситро из стаканов в бутылки. Стаканов всего два, и продавщица нервничает, кричит, торопит их. Потому что стоит длинный хвост и расстраивается бойкая торговля.

А старики всё соглашаются, кивают ласково и не спеша делают свое нелегкое дело.

И еще по перрону прогуливаются другие в тюбетейках: Много студентов.

Проводники — тоже в тюбетейках. Они по-хозяйски берут билет, чуть ли не с превосходством не замечают меня. И с искренней страстностью договариваются о чем-то с людьми возбужденного вида, снующими туда-сюда по перрону.

И вот мы едем. Соседом моим — казах. Он возвращается из отпуска. Огромные его чемоданы занимают немало места — это он выполнял поручения односельчан, все для них закупил. Парень очень гордится, что побывал в Москве. Все рассказывает, словно репетирует. Он беседует с другим моим соседом, машинистом паровоза, русским. Этот машинист как-то сразу стал для него большим авторитетом. Говорят они в основном о городах, в которых побывали.

— Вот в Ленинграде вокзал — это да! — говорит машинист.

— А в Новосибирске какой вокзал... самый лучший! — говорит казах.

— Ну уж сказал! Что в Новосибирске...

— Да, действительно... — соглашается казах. — Вот в Актюбинске — это да!

— Ну уж и вокзал...

— Паршивый вокзал, — кивает казах.

Так мы и ехали. Пили пиво в вагоне-ресторане, после чего все рассказывали случаи, перебивая друг друга, потом спали. Потом просыпались.

Во второй раз Азия началась, когда на стан-

циях газированную воду стали продавать не стаканами, а большими пивными кружками. Это уже были другие категории: другая жара, другая жажда. Мы катили по Казахстану, по Голодной степи. И я все диву давался, что и тут живут люди. Радостный (родина!) сошел наш казах.

Мы катили по голой, гладкой степи, и я все прислушивался, не понимая, откуда это посвистывание. Оказывается, суслики. Они бегали по степи в необычайном количестве. Жирненькие, серенькие, они сгорали от любопытства. Подбегали к насыпи, выстраивались шеренгой, смотрели на наш поезд, стоя на задних лапках, и посвистывали от удивления.

Проводники стали совсем важные: ближе к родине. Купе мое опустело. Но на одной из станций проводник вселил ко мне целую юрту. Два старика, широколицые, шоколадные, с торчащими вперед узенькими бородками, одна старушка и три мальчика. Первым вошел толстый старик. Он поздоровался, снял шляпу. Под шляпой оказалась тубетейка. Снял с сапог востроносые галоши, снял ватный халат и оказался в вельветовом немецком костюме. Затем вошли все остальные. На всех был вельвет.

— Дедушка, вы до какой станции? — спрашиваю я старика.

Старик ласково улыбается, кивает. Я думаю, он не слышит, и кричу:

— До какой станции?!

Лицо деда совсем расплывается и становится фантастически широким:

— Молодец, молодец! — кивает он.

И все улыбаются и кивают. И другой старик, и старушка.

Какие славные!

Потом появляется проводник, говорит им что-то по-своему, и они начинают собираться. Одеваются в обратном порядке, чем раздевались. Пожимают мне руки. И выходят.

Так и катим. День наполняется какими-то мелкими событиями и даже волнениями. Вечер. Я все стоял в тамбуре и пропустил чай.

— Все кончилось, — говорит мне проводник, — что же я, все время должен кипятить!

Я совсем расстроился. И зря. Потому что тут случилась станция и сели два таджика, старый и молодой. Они потолковали с проводником, и в нашем купе появился чайник.

— Иди к нам чай пить, — говорит старый.

Я с удовольствием присоединяюсь. На столике появляются лепешки, яблоки. Все прекрасно. Это дядя и племянник. Дядя — учитель. Племянник едет поступать в институт.

Мы пьем чай. Дядя и племянник возбужденно обсуждают что-то.

Говорят они примерно вот что:

— Шавран савон физика - химия. Сопунанда вшор буд приемная комиссия.

— Заргиданд ор?

— Чоршанбе сормадони конкурс.

— Фикра нолабур стипендия?

— Табассум.

— Бигзада васваса аз директор института?

— Табассум.

— Почему чай не пьешь? — говорит мне дядя.

— Я уже напился.

— Чай не пьешь — откуда силы берешь? — удивляется он. — Пей еще.

Я наливаю пятый стакан, а дядя с племянником так, наверно, по десятому. Дядя берет газету:

— Порсоштани газета? — разворачивает он ее. — Дар стадион «Спартак» галабаш футбол сарсухан команда класса «Б»...

Интересно... Не такой уж чужой язык. Что-то знакомое...

А я уже не могу видеть чай. А они все пьют. Третий чайник.

— Откуда силы возьмешь... — сокрушается обо мне дядя.

Но вот и они напились. Укладываются. Гасим свет.

А рано утром меня расталкивает проводник:

— Приехали.

С толпой прибывших выхожу на привокзальную площадь.

В третий раз начинается Азия.

Стою в нерешительности. Таких городов я еще не видел. Все незнакомо. Низенькие, обмазанные глиной домики розовеют от рассветного солнца. Слево — сад и чайхана. Направо — автобусная остановка. Прямо под вывеской «Такси» к столбику привязан осел. По площади снуют люди. Всех мыслимых национальностей. Во всевозможных костюмах. Разные языки. Пестро, шумно.

Я стою в раздумье, как и куда тронуться.

За мной что-то лязгает. Я вздрагиваю и оборачиваюсь: тетка в шинели запирает на цепь ворота, через которые я вышел на площадь.

Я вошел, и ворота за мной закрылись.

ЕЩЕ ОДНИ ВОРОТА

— Где тут отдел кадров?

— Прямо и налево.

Прямо и налево. Темный коридор. В коридор распахнута дверь. Из нее на пол ложится полоса света. Прикрыв дверь, читаю: «Отдел кадров». То, что нужно. Снова открываю дверь, вхожу. Шкафчики. Железный сундучок привинчен к полу. Стол. За столом белокурый гигант с мужественным лицом. Сосредоточенно что-то выстригает ножницами. Подхожу вплотную, смотрю. Из красного листа выстригается огромная буква «Щ». Это становится ясно через некоторое время. Гигант сосредоточен. Наконец с могучим вздохом он завершает последний хвостик. Отставив руку, смотрит, щурит глаз.

— Так... — говорит он. — Ну, что?

— По-моему, хорошо, — говорю я.

Гигант вздрагивает, недоуменно смотрит на меня. Краснеет.

— Вы что, читать не умеете? — рычит он.

— Умею, ща, — говорю я.

— Ну, так выйдите и прочтите, что написано на двери, — говорит он уже спокойнее и доброжелательней.

Выхожу, читаю. Возвращаюсь.

— Ну, и что? — улыбается гигант.

— Написано «Отдел кадров».

— А ниже? Ниже! — Он улыбается еще шире.

Выхожу, читаю. Возвращаюсь.

— Посторонним вход воспрещен, — говорю я.

— Вот видите, — смеется он, — подойдите к тому окошку.

Действительно, в стене маленькое окошко, за решеткой. Захожу со стороны окошка.

— Вот, — говорю я сквозь решетку.

— Ну, что? — гогочет гигант.

— Мне бы начальника отдела кадров...

— Это я. Так что?

— Вот, приехал...

— Налево и прямо. Подпишите заявление у начальника.

— А почему у вас тут решетка?

— Чудак, — смеется он, — документы...

Налево и прямо. Стучусь. Вхожу.

За столом массивный седой человек. Я решительно подхожу вплотную к его столу. Массивный подымает на меня глаза. Я долго объясняю, кто я и что я, зачем и почему. Я решил объясниться столь обстоятельно, чтобы меня больше не разыгрывали. Он слушает меня внимательно, разглядывает меня своими голубыми глазами. Он мне нравится. И вот я все рассказал.

— Так... — говорит он. — Так это вам к начальнику. — И показывает на маленького, черненького, совсем мальчика, который сидит за соседним столом.

Я вспотел. Подошел ко второму столу. Начальник не поднимал головы, читал. Какую-то бумагу. Я вытащил направление и положил ему на бумагу. Он продолжал читать. Читал, читал...

— Ничего не понимаю, — сказал он вдруг.

Поднял на меня глаза.

— Ах, это ваша? — Глаза воспаленные, усталые.

— Моя.

— Раньше чем через неделю рабочего места не могу предоставить.

Зазвонил телефон.

— Так что приходите через неделю, устроим, — сказал он, поднимая трубку. — Да, я. Да, начальник. Ну сколько можно вам говорить, что сейчас не могу! Спать хочу, понимаете! Да убирайтесь вы... — Он швырнул трубку.

Ну и мальчик! Поднял на меня глаза:

— Вы еще здесь? Через неделю.

Я замаялся.

— А-а-а... понимаю. У вас нет денег?

— Нет, что вы! Есть! — почему-то сказал я.

— Ага, тогда вам, наверно, негде спать.

— Смешно, — сказал я, — пол-Азии родственников!

— Гм, ну что ж, тогда через неделю.

Я вышел. Куда идти?

— Эй! — окликнули меня. Это был белокурый гигант из кадров. — Вы, наверно, тут ничего не знаете? Пошли вместе. Кстати я вам покажу, где здесь самое лучшее пиво...

Он показал мне и гостиницу, и пиво.

Через три дня у меня кончились деньги.

ЗАПИСКИ ЧРЕВО- УГОДНИКА

КАК Я НАЕЛСЯ

Я шел по одному адресу, который раскопал в своей книжке. Это был один товарищ, русский. Мы познакомились с ним в поезде, еще на пути сюда.

«У него и поем», — думал я.

Это была совсем новая улица, на которой он жил, и никто не мог мне объяснить, как к ней пробраться. Один было объяснил, и я долго вышагивал по старому городу, выписывая довольно здоровый крюк.

Улицы, шириной с человека, и дома, высотой с него. Я шел, чуть не царапая плечами дувалы слева и справа. В гладких боках улочек время от времени были прорублены дырки и вставлены дверцы. У дверей сидели босоногие, в ярких платицах девчонки с сорока косичками, в серьгах, с накрашенными ногами и руками, и возились со своими тол-

стыми братишками; или у дверей никто не сидел, а она была распахнута, и можно было видеть коридорчик между двумя дувалами, словно это еще более крохотная улочка, и там еще распахнутую дверь, а за ней садик, и в нем та же девчонка возилась со своим братишкой, и что-то кипело в котле на треножнике, и свисал виноград с деревянной решетки, и был вынесен в садик топчан и расстелен ковер, и откуда-то из закутка выглядывал бампер «Москвича» или мотоцикл...

Я шел по старому городу и никак не выходил на нужную мне улицу. Я стал снова спрашивать, и оказалось, что иду я не в ту сторону.

Я повернул обратно, ругаясь и про себя и вслух, и со злостью вспоминая того типа, который указал мне неверно дорогу. В воспоминаниях он казался особенно жирным, самодовольным, и я ругал его сытость и самодовольство. И награждал его все новыми недостатками и уродствами, пока не успокоился и это не превратилось просто в игру под ритм шага.

А в животе было так пусто... Я ощущал там своды. Как в храме. И словно там жили гул и эхо. И во рту перегорело.

Я выбрался на магистраль. Мимо бегали автобусы. Я мог бы сесть в любой из них и ехать, так как очень устал, но у меня не было на дорогу. Был самый что ни на есть зной. Не полуденный, как почему-то считается, — тогда сносно, — а послеполуденный, часа четыре. Я проходил мимо кваса, мороженого, газированной воды, стараясь не глядеть: они ранили мне сердце.

Но все имеет конец. И вот я у цели.

Я отыскал и улицу, и дом.

Здесь меня накормят и напоят.

Я отыскал его самого во дворе. Он возился там с машиной. Он не ожидал. Он приветствовал меня слишком бодро и радостно, чтобы мне это показалось. Мне это не показалось. У него протекал масляный фильтр, и лицо его было скорбно. Он очень извинялся и просил меня подождать немного, потому что он уже начал и когда еще соберешься взяться. Он залезал с головой под капот или в багажник и забывал обо мне, а вылезая, видел меня, внезапно вспоминал, по лицу его прощмыгивала тень, и он начинал меня развлекать. И эти его вопросы и слова делали еще более неудобным мое сидение на табуретке около машины, гораздо более неудобным, чем когда он забывал про меня. Если бы он меня не «развлекал», я бы тоже забывал про него — да и про все на свете — в терпеливом и тупом ожидании еды.

А мысль о том, что мне давно надо встать, извиниться и уйти, пообещав зайти в следующий раз (а сейчас я только на минутку, спешу); чтобы потом никогда сюда не приходиться, — эту мысль я прогнал в настойчивом своем стремлении пообедать. И потом, я уже так долго просидел у машины, что встать и уйти, помимо всего прочего, казалось мне просто неловко. Да и он, хам такой, уже вроде насмехаясь и поважнев, словно разгадав мой умысел, как-то уже и не стеснялся и не извинялся передо мной. И меня все больше злило и заводило такое положение бедного родственника.

А он делал какую-то и вовсе бессмысленную работу: протирал гаечки, купал их в масле, свинчивал, развинчивал, сдувал пыль. В общем, наслаждался своей машиной и воскресеньем и упорно не обращал на меня внимания.

А когда изредка все-таки извинялся передо мной, это было уже явно формально, это звучало как-то особенно оскорбительно, насмешкой.

А я упорно сидел на табуретке, и не уходил, и не мог уже создать хотя бы видимость непринужденности. Не мог заставить себя говорить хоть о чем бы то ни было. А все то, что пробова^л, казалось мне шито белыми нитками. И я сидел и выискивал в газете хотя бы одну не прочтенную еще информацию.

Удивительно, думал я, как это человек может так захлопнуться, стать пренебрежительным и нечутким, когда почувствует, что ты от него зависишь, что тебе что-то по-настоящему нужно. Ну хотя бы он и понял, в чем дело... Но ведь если бы я был в ином положении, то, наверно, именно этот человек постыдился бы держать меня у машины и, наверно, давно бы расшаркался и выставил все на стол и всячески проявлял гостеприимство. И только показать чтобы, что не беднее он, не хуже... Сколько раз мне предлагали обедать, когда я был абсолютно сыт, и сколько раз, хотя сама мысль о еде была мне неприятна, я садился за стол и обедал во второй раз, почему-то боясь обидеть хозяев. А настойчивость их росла, чем больше и уверенней я отказывался. Уверенней... Может, моя неуверенность позволяет ему не замечать меня сейчас?

Боже, и как много я не доел в своей жизни на всяких праздниках, свадьбах!.. Что бы — все распределить по жизни. Боже, до чего же все в ней неравномерно...

А этот — гад.

И я стал играть в ту же игру, что и плутая по старому городу: выискивал в нем наисквернейшие стороны, фантазировал, перебирал все возможные подлости, которые тот наверняка должен был сделать. И все распался.

А чтоб тот не подумал, что мне есть не на что, я стал врать что-то насчет моей геологической деятельности и тех длинных рублей, которые я с нее имел. И меня все больше заносило. Еще в поезде я начал ту же песню (тогда это было просто мальчишество), но тогда я говорил, что спустил астрономическую сумму в Москве, что там же оставил свои вещи «у одной знакомой», что в экспедицию только в тряпье и ездить, а теперь я плел что-то уж совсем неподходящее (слава богу, и в этом было мальчишество): как меня вчера ограбили на пляже, например. Тогда он угощал меня в вагоне-ресторане (о, тогда я был еще сыт и врал бескорыстно), тогда он верил мне и «уважал» за мои рассказы и восхищался мной. А теперь он снисходительно посматривал на меня, ковыряясь в своей машине, стоя во дворе своего дома, отгоняя свою овчарку, прикрикивая на своего сына.

«Неужели голодный человек так теряет внешнее достоинство, что такие люди перестают считаться с ним. Но, главное, почему бы мне не встать и уйти?..»

И, понимая, что он понимает, я раскатывался все дальше.

А мальчишка его, болезненный, с грустными мягкими глазами, все путался под ногами, опрокидывал ведра, разливал масло, бегал за собакой с гаечным ключом... и тоже не уважал меня.

Так мне казалось.

Смеркалось, когда хозяин, удовлетворенно обтирая руки ветошью, сказал:

— Ну что ж, теперь можно и перекусить.

Он распорядился. Он крикнул своей жене.

Что это был за стол! Салат из помидоров! Рубиновый с золотыми блестками борщ. Мясо! Мясо с наструганной румяной картошкой. В центре стола запотел графинчик. И огромное блюдо с фруктами.

И когда стол был уже собран и хозяин с той же снисходительностью раскусившего меня человека, с улыбкой, показавшейся мне особенно оскорбительной, пригласил меня сесть, я сказал:

— Спасибо, я сыт.

БАЗАРИЯ

Старый город — новый город. Новый базар — старый базар.

Площадь перед базаром вся в заплатках фанерных будок, ларьков, лотков, палаток и вывесок. А к самому базару ведет длинный и высокий крытый туннель. После солнца там особенно темно. У стен туннеля теснятся те же ларьки с подоконничками. А по туннелю идут с вами и вам навстречу черные старухи, несущие кошелки и прикры-

вающие лицо платком; и молодые узбеки, ведущие за рога велосипеда и с наслаждением нажимающие в свои звонки; и пузаны в халатах, только отвалившиеся от чая в базарной чайхане, и многие другие люди.

Туннель кончился, и свет снова упал на меня, пронзительный, жаркий. Огромное пространство, усыпанное по пояс дынями и арбузами, залитое солнцем, стонущее, снующее; разгружающиеся грузовики, телеги; ослы, грустно и протяжно ревущие; странные, прошлые старики, еще поддерживающие уходящие ремесла. Перед стариками разостланы платки с потемневшими и ржавыми образцами — витрины. Но никто не подходит к старикам. Они пьют чай, который носит им мальчик из чайханы, перебрасываются непонятными словами и кивают головами.

А один старик торговал арабскими книгами. Иначе зачем же он разложил их на своем платке? Книги были черные, ветхие и глядели таинственно. Я подошел, взял первую попавшуюся и стал листать с видом знатока.

Тут же я понял, что не стоило так пугать старого человека. Он посмотрел на меня, как на пришельца с того света. И, словно проснувшись, стал озиаться по сторонам. Он, наверно, увидел базар, подумал я.

— Хорош аксакал! — сказал он испуганно и ласково глядя на меня. Он стал тыкать пальцами во всех соседних стариков, гортанно призывая их что-то подтвердить. Старики закивали, заболботали.

Он показывал мне паспорт.

Я стоял истуканом.

И тут приблизился здоровенный узбек, этакое бронзовое чудо в грязном халате. И они объяснялись со стариком. И старик, вдруг приосанившийся, тыкал в меня пальцем, и все старики, встопорщив на меня бороды, показывали на меня пальцем.

Я предпочел скрыться.

И фруктовые ряды... Лучше бы мне этого не видеть! Непонятная сила толкала меня в них, приковывала. Зачем я тут? Ведь я просто болтался по городу и вдруг мне потребовалось срезать угол — пройти через базар... Но зачем мне было срезать, раз я просто болтался и спешить мне было некуда?

Тут я увидел, что торговля может быть прекрасной. Как они раскладывают фрукты! Сердца ху-дожников у этих людей.

Я ходил вдоль бесконечных тентов, промеж виноградов, черных и красных, белых и золотых, с косточками и без косточек, круглых и крупных, как орехи, и длинных дамских пальчиков; я ходил мимо яблок и груш, инжиров и гранатов, персиков, персиков... Персиков, женственных и истекающих соком. Смотреть на все это в моем положении было безумием. И когда я убежал от тентов, то попадал в разлитое арбузное море: огромные арбузные кучи, как зеленые волны. Или — в пустыню, где барханами золотились дыни. И в этом море плавали, размахивая руками, и в этих барханах кочевали пропитанные солнцем узбеки в распахнутых халатах.

И, убегая от арбузов, я снова попадал под тенты.

Все это напоминало сон. Когда все тянется, и нет времени, и все повторяется, и хочется бежать — и не можешь, и хочется кричать — и не можешь.

И я снова бросался в арбузное море. И старался выгresti к выходу, к выходу...

Где кончается базар, там начинается базар. И нет конца базарам...

Это был уже совсем другой базар. Тут ничто не растревляло меня. Но и торговля была совсем другая.

Там был бесконечный ряд, и женщины шумели над множеством разноцветных тряпичных обрезков, иногда аккуратно связанных в пучки, иногда разваленных щедрыми кучками.

И человек, расположившийся у целого собора востроносых, неприятно горячих на вид галош.

И поднимается раздражение...

И вдруг какая-то сказка — ковры. Ковры, подвешенные на веревках между деревьями, огромные, как взлетные площадки, яркие, пестрые, как... и не с чем сравнить. Они образуют коридоры и улицы, и пересекаются эти улицы и коридоры; по этим улицам ходят люди и разминаются на перекрестках. Тут можно заблудиться.

Я выбрался из ковров и попал к мотоциклам. Это было буйное место. Обсуждение походило на крик, жестикуляция походила на драку. Нажимали гудки, гладили никель, били в груди мокрые, возбужденные, действительно страстные люди.

А потом пошли быки, коровы, ослы, козы... Овцы раскачивали своими фантастическими курдюками. Кучи связанных куриц. Все это мычало,

блеяло, кудахтало, и поверх этого не такая громкая и все-таки перекрывающая гортанная человеческая речь. При мне туда привели двух верблюдов. Они возвышались над всеми своими маленькими самодовольными головками, возвышались и выкатывали грудь, как командиры на параде.

И где-то впереди, казалось, маячил выход.

А у самого выхода — круглый, лысый человек, пораженный своей важностью и разнообразием разложенных перед ним товаров. Тут и кучи рваной разноплеменной одежды, и какая-то посуда, и примус, и медный таз, и мозеровский будильник, и ручка от маузера — все это показалось мне олицетворением безобразного в прекрасном мире Базарии. И над всем этим, над его головой, объявление:

ЛЮБАЯ ВЕЩЬ — НЕ ДОРОЖЕ 10 РУБЛЕЙ

Вот это да! — подумал я. Тоже веяние...

Совсем рядом с этим раскачивающимся болванчиком, с левого его боку, лежала прекрасная шляпа из рисовой соломы, благородных форм и совершенно новая. И, конечно, стояла не десять рублей.

Какой-то чертик шевельнулся во мне.

Я взял шляпу и полез в пустой карман:

— Десять?

Я не знаю, как это возможно: подпрыгнуть, если у тебя ноги сложены по-турецки. Но он подпрыгнул, и не меньше чем на полметра. Он гневно буравил меня своими черносливами, вылезшими из орбит,

как тубусы у бинокля. Все лицо у него пришло в движение, словно под кожей у него забегала мышь. Казалось, он не находил слов.

И вдруг он вырвал у меня шляпу и заорал:
— Пшел вон из моего магазина!!!

И я вышел... Тихие, без людей, словно уснувшие улицы, застывшие деревья, дувалы, и тень от деревьев и дувалов, и застывший посреди улицы зной...

Как странно!

ПЛОВ, ЛЕНИНГРАД

Постепенно мысль, вначале робкая, что я найду деньги на улице, обратилась в фанатическую убежденность. Чем больше я бродил по городу и чем больше нагуливал аппетит (казалось, куда уж больше!), тем явственней пульсировало во мне: вот сейчас, за этим углом, за этой урной... вот сейчас. Сколько было поднято совершенно никчемных и грязных бумажек, прикидывавшихся рублями!

Был уже вечер, и на меня напала вечерняя жажда. Мне так хотелось пить, что я уже не чувствовал, что хочу есть. Я брел, глядя себе под ноги, и в наступившей темноте терял последнюю надежду найти. Вдруг что-то замедлило мои шаги и потянуло назад: показалось, что у забора, где терялся свет уличного фонаря, что-то мелькнуло, а я не

обратил внимания. Такие штучки со мной уже бывали и кончались ничем. Я хотел уже идти дальше. Но что-то опять не пустило меня, я вернулся и... это были настоящие три рубля. Радость сменилась сознанием, что это не так уж много. Но и это...

Я купил сигарет и свернул в чайхану и взял чайник. Я утолил первую жажду и почувствовал, что хочу есть. Достал сигарету — закурил. Сосед-таджик завел со мной беседу и потом попросил сигарету. Я дал. Таджик говорил со мной и время от времени убегал посмотреть за пловом, который готовил на кухне при чайхане. А я говорил с ним и думал только о том, как бы он угостил меня пловом. И, выжидая, я выпил еще чайник, хотя пить уже не хотелось и уже думал, что мог бы вместо чая взять хлеба на рубль.

Таджик оказался студентом техникума.

— И кем будешь? — спросил я.

— Инженер-инструктор по общественному питанию, — важно сказал он.

— О, очень интересная профессия, — я почувствовал нестерпимую резь. — И стипендию тебе платят? — почти угрожающе сказал я.

— И стипендию, денег — во! — провел он по горлу.

И тут я сказал:

— Я геолог, пять лет назад окончил институт. Получаю три тыщи.

— О, о, о, о! — сказал таджик.

Что это я опять! Я спохватился и пошел на попятный:

— Но в чужом городе деньги летят — ого! — сказал я. — Приехал на воскресенье, сто рублей уже истратил, а голоден.

— Да, чужой город — это да, — сказал он и побежал смотреть за пловом.

Я обдумал ситуацию и, когда он вернулся, сказал:

— Так значит, ты инструктор... Так ты, наверно, здорово готовишь?

— О да, — сказал он, — о да.

— Это, наверно, очень трудно — приготовить плов по-настоящему?

— О, о, рис, мясо, сало, лук, перец, помидор, кишмиш...

У меня помутилось в глазах. И я сказал, проглотив спазму:

— А мясо чье? Баранье, да?..

— Баранье, баранье, — подтвердил таджик.

«Сам ты...» — подумал я. И сказал:

— У нас на севере хозяйки говорят, что труднее всего сварить рис, как надо.

— Рис, рис, — сказал он. — Но у вас в Ленинграде тоже, наверно, есть чайхана и плов?

— Нету, — сказал я, надеясь, что тут уж он сжалится.

— О, нету!.. Нету чайханы, нету плова... — запричитал таджик.

— Я только здесь в первый раз попробовал, и то в столовой.

— О, о, ох, — закатывал глаза инструктор.

— Но столовский, наверно, не может идти в сравнение с домашним, — наседал я.

— О, дом! У тебя — Ленинград, у меня — Ура-
тюбе.

— А домашнего я совсем не пробовал... — ска-
зал я, и инструктор убежал смотреть за пловом.
А я обнаружил, что чай у меня кончился, а сидеть
просто так — он, пожалуй, еще подумает, что я на-
прашиваюсь.

И еще чайник.

Вернулся инструктор и попросил еще сигарету.
Я угостил его сигаретой и чаем.

— Ну, как? — сказал я.

— Почти готов. Я прикрыл его крышкой.

Я представил себе, как выходят, сгущаются
жирные пары и оседают на крышке... Картина
была слишком яркой.

— Да, — сказал я, окончательно сдаваясь, —
очень мне хотелось бы попробовать домашнего
плова...

— Да, — сказал таджик, — да... Я возьму еще
сигаретку. — И он взял.

Вот оно, хваленое восточное гостеприимство,
горько подумал я и сказал:

— У нас на севере тоже делают вкусные вещи.
Другие, чем у вас. Вот приедешь в Ленинград — я
тебя угощу.

— О да, приеду, обязательно приеду, — сказал
он. — Надо пойти посмотреть — уже, наверно, го-
тово.

Я тоже встал и сказал в отчаянной решимости:

— Пойду посмотрю, как это ты делаешь...

Мы миновали два больших, в рост человека,
медных фыркающих самовара с колдовавшим око-

ло них чайханщиком. И вошли в маленькую комнату.

Там сидели вокруг дыни не меньше пятнадцати женщин и говорили. Казалось, крутилась, работала камнедробилка. Одновременно, ежесекундно слетало с языка каждой по десятку незнакомых трескучих слов.

Я появился, и камнедробилка остановилась.

Все смотрели на инструктора.

— Рафикон колонсолон Ленинград, — сказал он смеясь, — канибадам хушт либос плов.

Все засмеялись. Камнедробилка заработала.

Издевается, подумал я, бессмысленно и всем улыбаясь.

— Плов, Ленинград, — сказал я с нелепой улыбкой.

И мы прошли в слепую (без окон) черную кухню. Только краснела у плиты кучка чуть поседевших углей, да сквозь приоткрытую в соседнюю комнату дверь слегка прорывался свет. Темнота делала обстановку экзотической. Прямо в плиту был вделан огромный котел.

Инструктор приподнял крышку.

И, как взрывной волной, меня чуть не подкинул тугой, смутный и сложный запах.

Огромный котел — и он был полон.

Инструктор приподнял крышку. Он пошерудил в котле черпаком и сказал:

— Готово.

Я смотрел на красные рисинки, жирные стенки котла, и у меня мутился рассудок.

Инструктор крикнул что-то женщинам в сосед-

нюю комнату, и одна из них принесла огромное блюдо — я еще не видал такого блюда! — и блюдце поменьше. Он выложил весь котел в огромное блюдо, и женщина унесла его и поставила в центр на место дыни.

Он соскреб со стенок остатки и положил их на блюдце поменьше.

Это нам, подумал я.

— Вот и все, — сказал он. — Такой кухни в Ленинграде не увидишь.

Мы вышли. Женщины макали руки в блюдо, скатывали плов в шарики, а шарики клали в рот.

Мне хотелось лечь в блюдо.

Инструктор отдал блюдце поменьше чайханщику.

— Возьмем еще чайник, — сказал он мне и достал четвертной. Я с ненавистью посмотрел на его четвертной и в один миг успел мысленно его проесть со всеми подробностями.

— Зачем же тебе менять крупные, — сказала я, — у меня есть мелкие. — И отдал чайханщику последние копейки.

Инструктор спрятал четвертной обратно.

Мы допили наш чай, и он говорил мне что-то, а я — ему.

— Кок-чай, хорош чай, — сказал он и слил остатки чая в пиалу и придвинул мне. Я отказался: два литра горячей воды кипели у меня в желудке, и больше ничего не было там.

Обида пробежала по лицу инструктора.

— Обязательно выпей. У нас говорят: никому не давай остатки чая — только лучшему другу.

«Лучший друг...» подумал я и остатки выпил.
И мы встали, похлопывая друг друга по плечам и смеясь, как братья.

Инструктор посмотрел на часы.

— Ого! — сказал он, — без четверти двенадцать... Мне надо спешить.

— Ну, спокойной ночи, — сказал я, улыбаясь широко и готовно.

...Я лежал на скамейке в парке и засыпал, слушая, как гудят и клокочут в чистом желудке три литра зеленого чая.

ХЛЕБ

ДОСУГ

Сколько раз я собирался слазить на ближайшие горы... Интересно ведь. Я же любитель по горам ходить... Да, я очень люблю ходить по горам. Просто нет ничего лучше гор! Да и как здорово это у меня получается! Я лучше всех своих приятелей хожу по горам.

Но вот и месяц прошел на новом месте, а я все так и не сходил в горы ни разу. Как-то приходишь со смены... пока помоешься, поешь, а там и спать.

Странно получается... Собрался я читать Толстого. Очень я люблю Толстого. Что может быть лучше Толстого! Но вот месяц прошел, как я взял его в библиотеке... и все 55-я страница.

Странно это... Поспишь, поешь, поработаешь... Да и какая же это работа: кажется, сидишь боль-

ше, чем работаешь! Перекуры одни. Тут и уста вать нечего.

Только ребята говорят:

— Ничего, привыкнешь. Работка у нас в самый раз: сиди себе, смотри, как станок крутится.

Или:

— Да... Иногда приходится попрыгать.

Или:

— Да, работка-то — медвежья...

То есть каждый раз, как со смены вернусь, начинаю думать, как бы мне на эти горы слазить. Ведь рукой подать. Просто стыд, что за ленивый парень! Так уедешь обратно — и ничего не увидишь!

С этими словами да еще с Толстым и засыпаю каждый вечер.

Но вот наконец я выбрался. Просто удивительно, каким это оказалось легким делом. А я-то все собирался, собирался... Ничего нет проще. Такими легкими скачками — вверх, вверх... Как птица. Два раза толкнулся ногой — и уже на утесе. Еще раз — еще на утесе, еще выше. Все внизу такое маленькое: вся наша партия, с ее столовой, общежитием, работой, — просто не разглядеть.

Прыг-прыг! Выше, выше. Легкий, как кузнечик.

Прыг!.. Выше уже ничего нет. Я на вершине.

Как это я раньше не догадался! То есть дураку ясно, что за горами все иначе. Оглянешься назад: да, там наша партия, которой уже не видеть; желтые, голые, острые камни до самой партии, и ни травинки, разве что редкие, совсем уже выгоревшие клочки между камнями...

А впереди — трава. Зеленая, сочная. Вон она, там, внизу. Совсем как у нас дома.

Прыгаю вниз и лечу. Трава все зеленее, ближе. А вот и речка. И лесок подальше. И почему-то там стоит мой дом. Точно, это наш дом. Почему-то мне совсем не удивительно, что мой дом в лесу... Вот выбежал Рекс: его поручили нам на лето. На крыльцо вышла мама. А где же Ира? Мне ее надо видеть. Почему она не выйдет на крыльцо?

Я парю над домом. Медленными кругами снижаюсь. Вот уже заметил меня Рекс. Залаял радостно. Все громче, громче...

— Ира, Ира! — кличет мама.

Сейчас она выйдет, думаю я.

Что-то у меня перестало получаться... Наверно, нельзя было думать о том, как это я летаю. Летаю — и все тут. Очень просто. А как подумал, сразу разучился: куда руки-ноги девать? Так можно и грохнуть. Маму напугаю...

Где ты там застряла, Ирка?!

А Рекс... Ишь, разлаялся. Злой... Чего лаешь! Вот погоди, сейчас спущусь...

Да что же это, в самом деле... Падаю. Молчать, Рекс! У-у-ух!!!

— Вставай, вставай! — сдергивают меня за ногу. — Ну и горазд же ты давить... Да не смотри ты на меня так — не испугаешь. Собирайся поживее. Авария на вышке. Снаряд прихватило: Помочь надо. Все уже на ногах... Вставай...

Это Толя говорит. Так.

Это звезды надо мной. Ночь.

Ну что ж...

НОЧЬ, ДЕНЬ И ЕЩЕ НОЧЬ

Сначала было весело.

— Дай патрубков.

— Убери ногу.

— Ну-ка... Хоп!

— Да не так...

— Убери руку!

— Ключ на двадцать.

— Взя-а-а... ли!

— Да не туда!

— Р-р-раз!!!

—

— Еще-о-о... Р-р-раз!!!!

Но вот к утру все наладили. Настроили. Приступили.

Трень-бом! Трень-бом!

Раз-два! Раз-два!

Трень-бом! — это мы стучим бабой. Р-р-раз! — приседаем, тянем канат вниз. Баба взмывает вверх. Восемьдесят килограмм в бабе. Баба стучает по хомуту. Снаряд подается вверх. Два! — распрямляемся. Канат ползет вверх. Баба опускается вниз, садится на нижний хомут...

Р-раз — трень! Два — бом!

Трень-бом!

Раз-два!

Приседаем — разгибаемся.

В голове пульсирует кровь. Сердце стучит во всем теле. Стучит в ушах. Грохочет баба. Кажется,

что ритм бабы совпадает с ритмом сердца. И еще лезут в голову какие-то слова, имена, строчки... Влезет одно и звучит в голове до бесконечности, в ритм ударов сердца и бабы.

День-ночь.
День-ночь.

Раз-два!

Трень-бом!

Мы идем.
Мы идем.

«По Африке» — не влезает в ритм.

Причем тут Африка?

Трень-бом! — никакой уже мочи. Но у них, рядом, есть ли у них мочь? А они тянут.

Трень-бом! И я тяну. А в голову заползают какие-то глупости...

Вверх-вниз!

Мы идем...

Раз-два!
Раз-два!

Впрочем, хорошо, что эти глупости заползают. Отвлекают от того, что трудно.

День-ночь.

«Ночь, день и еще ночь... Вернулся муж. Любownika спрятали в шкаф. А муж провел с женой ночь, день и еще ночь...» — Это из анекдота.

Нет, это уже невозможно. Как они еще могут! Когда надо тянуть вниз, я извиваюсь, как червяк. А разгибаюсь даже слишком поспешно.

Раз-два!

Вниз-вверх!

...У меня ведь болело горло. Точно болело. Поэтому мне и трудно. Надо объяснить и уйти...

Трень-бом!

День, ночь и еще день...

Сколько можно! Хватит уже.

— Хватит, ребята, передохнём, — говорит старший мастер.

Передохнём... Передохнём — это да. Мы отваливаемся от каната, как насосавшиеся пиявки. Отваливаемся и лежим. Никак не распрямить ладонь. Только через пять минут кто-то из нас соображает, что можно закурить. Закуриваем.

Боже, как хорошо! Солнышко над нами. Припекает. Высыхает пот, натягивается кожа на лбу и скулах. Ветерком потянуло. Дымком. Сколько можно — так пролежать? Без конца. Зачем это надо — двигаться? Кто это выдумал?.. Человек создан для лежания. Так хорошо... Все гудит, ноет, переливается внутри. И, как в детстве, кто-то говорит за меня, какой-то Боря...

— Толик, а Толик... — говорит Боря.

— М-м-м...

— Совсем я заболел вроде. Вечером еще горло болело. А теперь совсем не могу. Сердце, слабость...

— Конечно, Боря... Чего ж тебе тут мучиться. Раз болен. Ведь это сверх смены. Чего тебе мучиться. Раз слабость... Конечно, Боря, иди домой. Чего уж мучиться.

— Да, пожалуй, — говорит Боря, — а то очень уж горло болит.

— Иди, иди, Боря... Только старшему скажи. Но я почему-то не подхожу к старшему и не говорю, что болен. Все собираюсь — и не иду.

Так сладко... Так расслабиться — это еще надо суметь. Вот так бы и лежать...

— А ну, ребятки, хватит, отдохнули. Передохнули и еще наддадим. Уже целый сантиметр выполз. Если мы еще так наддадим — еще выползет.

В эту минуту я ненавижу мастера... Ну и морда!

Трень-бом! Трень-бом!

И сколько ни колоти — хорошо, вылезет на сантиметр. А то и того нет. Но мастер говорит: хорошо идет. Главное — нельзя останавливаться. Еще немного, а там само пойдет. Словно кто-то держит снаряд на глубине двести метров. Называется это прихват. Вот если сейчас мы не выколотим снаряд бабой, то уже ничем не поможешь... Ну, еще немного, ребятки... А там само пойдет.

Раз-два!

Ай да баба!

Вверх-вниз!

Ну и баба...

Ну и ну! Можно же так уходить. Дальше некуда. Откуда только силы берутся... — Пере-

дохнем. — А ну, еще раз! Перекурить. — А ну, нажмем.

«У каждого человека есть свой запас силы и еще немножко».

Говорят, работа — это фронт.

Р-разойдись!!!

Этого уже не могло произойти... Ночь, день и еще ночь мы колотили бабой. Миллиметр за миллиметром выползал из скважины снаряд. Кто-то, кто держал его внизу, на глубине двести метров, не хотел отдавать нам даже этих жалких миллиметров.

Мы уже забыли смысл нашей работы: нас толкала вперед злость на «того, кто держит». И у того выскальзывало из рук. Миллиметр за миллиметром.

Метр. Еще метр.

Казалось, так будет вечно. Ночь, день и еще ночь... И это уже казалось неправдой, когда вдруг пошло само.

Пошло и вышло.

Само. Само собой.

Ай да мы!

Ну и мы!

Это мы!

Мы!

Мы!

Мы!

Мы кубарем скатываемся по склону и идем по дороге, вниз, к базе.

— Орел, Боря! — говорит мне Толик. — Ты хоть и сильный, а жилу животом зарабатывают...

И старшой говорит:

— Ну, как, Боря?

— Ничего, — говорит Боря.

— Ты парень крепкий, — говорит старшой.

«Хороший он, в сущности, парень», — думает Боря.

И они идут такие веселые, сильные, дружные...

Сегодня — суббота.

Завтра — воскресенье.

Словно ничего и не было. Не было работы.

ВЕСЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

Я работаю с Толиком. Работать с ним легко. И жить с ним легко. Все он делает как-то без усилий, незаметно. И мне помогает. Поначалу ведь не все выходит так, как надо. Помогает он тоже незаметно.

Толик видел в жизни разное. Всякое.

И все его взлеты и падения, казалось, оставляли в нем только след мудрости — а сожаления, зависти, ревности (что вот не достиг, не так сложилась жизнь) в нем не было.

Он говорил:

— Жизнь я прожил по-хорошему...

Или:

— Не понимаю, чего это вам ссориться, что вы мрачные такие... Веселее надо. Вот я — веселый человек.

Или:

— Шутить надо больше. В этом огромная наша беда — мало мы шутим. Легче надо. И веселее. Вот я, человек веселый...

Но за всем этим ходит где-то большая грусть. Где-то там, за шуткой, жестом, где-то на доньшке взгляда...

Есть у Толика и официально отрицательные черты. Например — пьет.

И вот, когда выпьет, берет гитару:

Так здравствуй, поседевшая любовь моя...

Или пляшет. Цыганочку.

Тело его становится удивительно легким. И тогда он кажется особенно, подчеркнуто худым. Туловище во время танца неподвижно. Руки — плети. И только ноги, тощие, обутые в тапки, двигаются вдохновенно, мягко — бесшумная чечетка. Толик не любит ухарства в танце, стука.

И танцует медленно, словно разгоняясь, и останавливаясь, чтобы разогнаться снова, но так и не набирая темпа.

А гитаристу говорит:

— Не понимаешь... медленней...

А лицо... Запрокинуто, взгляд льется куда-то, улыбка бродит по губам — тень улыбки — и не улыбка вовсе.

А глаза... Взгляд где-то поверх нас, выше. Что он видит там?

Он говорит:

— Горы я люблю. Тут все не ровно. Взгляду — живо.

Или кличет свою собачку, крохотную лайку:

— Кнопка, Кнопка! Ах ты, родная моя...

Еще любит читать. Книги толстые, приключенческие. Говорит:

— Про жизнь скучно пишут. Веселее надо. Уж лучше вранье...

И еще ему нужно, чтоб рядом обязательно кто-нибудь был. Жена ли Маша, Кнопка ли, или я, или кто-нибудь другой. И кажется, жизнь его — желание, чтобы к нему пришли. И чтобы тому, кто пришел, стало легче, проще, веселее, вернее в жизни. К нему и ходят.

И безудержный запас историй, случаев, из которого он каждый раз достанет то, что необходимо тебе сегодня. И рассказ его (а Толик — рассказчик, большой рассказчик) должен быть прекрасным. Толик выставит себя и смешным, и глупым, и поерничает — только чтобы был рассказ. Рассказ для него — не похвальба. Рассказ не себе — а слуша-телю.

Замечаю странную вещь. О том, кого очень любишь, кто навсегда задел тебя, писать очень трудно. Трудно — о матери, о женщине, которую любишь. Как-то разговор о них не вяжется с умением писать. Это, может, так же трудно, как в разлуке вспомнить любимое лицо. Тыща других, полузнакомых, случайно встреченных людей пройдет перед взглядом, пока вспомнишь единственное лицо...

Фотография Толика у меня на столе.

О людях — память, тепло. Но Толиком я меряю жизнь.

При всей своей слабости, Толик — человек. Потому что он — вне суеты. Суеты, которая гложет и сжигает человека. Суеты, от которой теряют собственное лицо. Теряют ощущение полноты жизни.

И все мне верится, что таким, как он, можно стать и не сломавшись.

И вот мне хочется, чтобы я сделал в этой жизни все, что могу, и в то же время мог сказать, в равновесии и простоте:

Я — веселый человек.

РОДНОЙ ГОЛОС

ДВЕНАДЦАТЬ КОЗ БЕЛЫХ И ДВЕНАДЦАТЬ КОЗ ЧЕРНЫХ

По горам прыгают козы. Огромное количество. И все они или белые, или черные. Других нет. Никакого перехода. Вот они столпились в большое черно-белое пятно на склоне. Вот они рассредоточились и четко рисуются черно-белым пунктиром по гребню.

Горы слева, справа, впереди и сзади. Слева горы — желтые, голые. Справа горы — желтые, голые. Они то подходят к нам вплотную, то отступают, отходят в сторону. словно танцуют. Впереди каменистая тряская дорога. Изгибается, как река. Вьется, как змея. Спрячется за гору, вытянется по саю, снова улизнет за поворот. А сзади — пыль.

Можно не включать мотор, а катить так, за

счет английского короля, по крайней мере полдороги.

Суббота. Катим в город.

Вниз. С гор.

Нас швыряет в кузове, как игральные кости в стакане. Но это еще полбеда...

Еще поворот, и на тех же голых камнях — юрта. Вокруг бегают дети в ярко-красных рубахах. Перевернутые закопченные котлы. Раздвигается полог — выглядывает женщина. Около юрты толпятся козы. От юрты отделяется старик, подходит к обочине, голосует. В другой руке веревка: на нее нанизаны длинной цепочкой козы.

Старик что-то длинно объясняет нашему шоферу, пуская в ход все пальцы, приподымая на руках беленькую козочку и просовывая ее в кабину и все время тряся головой и бородой — одновременно, но с разной частотой, бородой чаще.

Наконец и мы в кузове понимаем, в чем дело. Это благодаря шоферу.

— Да что же это такое?! — кричит он не своим голосом. — Да на что мне твоя коза! Как же мне тебе еще объяснить, что не могу я посадить двадцать четыре козы в кузов!.. Ах, мать твою...

Мы оглядываемся, осматриваем кузов. М-да... Хотя мы и утряслись немножко... Но ведь козы — двадцать четыре и нас — двенадцать. Я пересчитываю цепочку: двенадцать коз белых и двенадцать черных, — никакой ошибки.

Шофер заходится.

На помощь из кузова выпрыгивает Коля. Он татарин и берется переводить. Наконец старик от-

деляет от цепочки шесть коз — три белых и три черных, — и Коля с азартом, краснея и веселясь, начинает закидывать их через борт.

Мы смотрим.

Потом старик опять подходит к кабине и снова начинает пропихивать козочку.

— Да не нужна мне твоя паршивая коза, — в голосе шофера мне слышится рыдание.

Старик не понимает, качает головой.

— Ну, садись, черт с тобой... Да поживей, и так из-за тебя опаздываю. Да садись же!.. Ведь все понимает, старый хрен, — денег платить не хочет... .

Старик подсаживает козочку в кузов. И садится сам.

И мы едем.

Нас теперь двадцать в кузове. Двенадцать было, да еще старик, да еще семь коз. Впрочем, седьмую, беленькую козочку, старик держит на руках, как грудного ребенка. Но от этого не легче.

Да, он едет в город. Да, на базар. Толковый старик.

Теперь-то нас не так легко трясти, как игральные кости. Но это только кажется. Нас таки трясет: небо-то над головой — свободно... Козы испуганно жмутся сзади. Они теплые, шерстяные. Глаза у них округлились, налились кровью. Тупой ужас в глазах.

Но мы привыкаем. Козы сзади, впереди — дорога. И мы про них забываем. Разве пахнет несколько. Да еще я полетел через козу: машину трянуло. И все очень смеялись.

Тесно не тесно, а словно мы тут уже давно живем, в машине. Трое играют в очко. Один достал из сеточки пиво и рыбину и угощается с соседом. Коля-татарин заигрывает с Надей-кассиршей. Надя смущается, старается показать, что Коля ей не пара, воротит голову.

Коля вдруг обижается:

— Чего кривишься?

Надя молчит, словно это он не ей говорит.

— Подумаешь, начальство... — говорит Коля.

— Сначала научитесь разговаривать, — говорит Надя, — а потом говорите.

Это, конечно, мудрое замечание. И Коля обижается совсем.

Подблеивают козы.

Но тут машина затормозила.

Новое дело.

Осел стоит посреди дороги. Стоит и ухом не ведет. Сколько я видел ослов — ни тупости, ни упрямства. Это какое-то воплощение грусти и меланхолии. Они, по-моему, просто ничего не видят вокруг от этой грусти. Не обращают внимания. Серые, лопоухие, славные.

Так вот осел стоял посреди дороги. А уж если он стоит, единственный способ — взять его за четыре ноги и перенести к обочине. Бить и пугать — бесполезно. Но тут был не просто осел-кататоник. Тут дело сложнее.

У обочины, в пыли, катаются два человека. То, как они по очереди садятся друг другу на грудь, и как держат друг друга за отвороты халатов, как лежат в пыли опрокинутые тюбетейки, как кричат

они, гортанно и страстно, — по всему этому можно понять, что они дерутся. И кажется, что кричат они не сердито и дерутся как-то не страшно, понарошке.

Мы, конечно, выбираем себе любимца и начинаем болеть. Мы подбадриваем их криками. Мы даже начинаем спорить, кто — кого. А надо сказать, что меняются местами они так часто, что мы начинаем их путать. Но это не мешает нам болеть. Нисколько. Мы входим в азарт.

Тут один из двоих, оказавшись сверху, вскакивает на ноги и во всю прыть несется к ослу. Он вспрыгивает на осла, стучает в бока пятками, и тот, как по мановению, забыв, что он кататоник, оживает и трогается с места. Тем временем вскакивает и второй узбек, догоняет первого, стягивает его за ногу с осла и садится сам.

Оказывается, они дерутся из-за осла, вот что.

Осел идет вперед как ни в чем не бывало. Мы ползем за ним. А два неподеливших человека стаскивают друг друга с осла, первый — второго и второй — первого. И все время они кричат не переставая.

Мы ползем следом. Медленно, но интересно.

Тут случилось вот что. Они оба снова скатились к обочине, а осел убежал в горы.

Мы ехали дальше с положенной нам скоростью...

Машина теперь уже не катится сама собой. Она ныряет. Вниз — вверх. Вверх — вниз. Раскатится вниз — и на всем скаку на горушку. А на самый взгорбок уже еле взбирается, ревя и задрыв радиатор. Вниз — упираешься руками в борт, чтоб не

ткнуться в соседа. Вверх — руки вытягиваются, как канаты, чтобы не опрокинуться на коз. Вниз — все видно впереди. Вверх — видно все меньше, меньше. Пока не влезешь на взгорбок: оттуда снова вниз. И снова вверх.

Вот мы, шипя и надрываясь, осилили один очень длинный подъем. Вот мы на взгорбке — и совсем иная картина. Словно и не было желтых раскаленных гор. Под нами котловинка, и она зеленая.

Аул. Оазис.

Вот и то самое, из-за чего возникли и аул и зелень, — узенький ручеек. Мы переезжаем его медленно, как канаву, сначала мягко нырнув передними колесами, потом резко — задними. Слева от дороги из камня выложен бассейн (хауз). Ручеек перегорожен. У плотины копошатся дети.

Мы спускаемся вниз. К аулу, к зелени.

Справа — поле люцерны. Оно обнесено плетеной изгородью. А сразу от изгороди начинается тот самый вечный желтый камень, такой мертвый на вид. Это поле было такое зеленое! Я никогда не видел, чтобы что-нибудь было таким удивительно зеленым. Таким свежим. Трава густая, сильная. Кажется, изгородь выгибается под ее напором. Поле (какое поле! — что наш кинозал) — и не поле вовсе. Кто-то, чуть покрупнее нас, поставил в пустыне на желтый камень плетеную корзинку, набитую тугой травой. А в поле пасутся две лошади. Удивительно милые лошади. Две лошади в корзинке. И все поле в отдалении. Прохладное, нежное... И две лошади. Сколько раз я проезжал по этой дороге, мимо этого поля: вниз — в субботу и

вверх — в понедельник... И каждый раз так же зеленела люцерна, так же паслись две лошади. Казалось, они не меняли ни позы, ни места. Казалось, они и не паслись вовсе. А смотрели куда-то вдаль. Две лошади, два силуэта. Скоро вернется этот кто-то за корзинкой и понесет ее дальше. И люцерну, и двух лошадей... Унесет.

Мы спустились мимо поля и подкатили к аулу. Тут вперемежку стояли юрты и глинобитки. Из них высыпали люди.

В центре толпы оказался солдат-отпускник. Я еле узнал его: такой он стал важный. Это мы привезли его в прошлый понедельник. Он остановил нас тогда в двадцати километрах от аула. Он шел туда пешком и запыхался с ног до головы. В машине он успел нам рассказать и про службу, и про жену, которую не видел год, и про хозяйство. Он нервничал, брал у нас папиросы, и его новорожденное лицо было так тревожно и так чисто. А сейчас он стоял, белый и растолстевший в армии, в толпе своих сухих темнолицых односельчан и был очень важен, и какое-то непонятное равнодушие покрывало его лицо. Он был уже в халате и тюбетейке и забыл про сапоги. Когда он успел привыкнуть к тому, о чем скучал год? Впрочем, много ли нужно человеку, чтобы почувствовать себя дома...

Тут наш старик издал пронзительный крик. В толпе обратили внимание и тоже закричали. Наш старик забарабанил по крыше кабины. Мы остановились.

Он поспешно, путаясь в халате и собственных

ногах, цепляясь за коз, вылез из машины. Бросился обнимать отпускника. Старик обнимал и обнимал его, выкрикивая и притопывая. А отпускник давал себя обнимать и стоял важный. А раздавшийся круг смотрел на них. И отпускник давал на себя смотреть. Потом старик начал обнимать группу, стоявшую чуть ближе к центру, чем остальные, — по-видимому, родственников отпускника. Потом он начал обнимать всех остальных, прижимая руку к сердцу, и пожимая руки, и кланяясь, и снова прижимая руку.

Мы не могли уехать, потому что у нас в кузове были стариковы козы. Шофер выбрался из кабины, опять вспоминая мать, и подошел к толпе. Он втесался в нее, продвигаясь к старику. Продвинулся.

Старик по инерции обнял шофера.

Шофер приволок старика к машине:

— Ехать надо. Понимаешь, ехать. Е-хать. Ехать, понимаешь? Твоя, моя, козы — ехать. Ах...

Старик не хотел ехать. Старик даже рассердился. Он что-то лопотал и бубнил с обиженным лицом. Затем махнул рукой и стал принимать от Коли-татарина коз.

Коля сказал:

— Он говорит, что базар никуда не уйдет. А тут вернулся племянник, и он уйдет.

Сгрузили коз.

Старик снова попытался пропихнуть козочку в кабину.

То есть то, что сказал по этому поводу шофер, вообще трудно передать.

Старик, прижимая руку к сердцу, попятился от машины.

Шофер тронул.

Тут наш старик что-то спохватился и побежал за машиной, крича и размахивая руками.

Мы остановились. Запыхавшись, старик подошел к кабине и долго разворачивал на груди свои халаты, откуда и извлек некий узел. Он долго развязывал его, прищепывая и притопывая, и все для того, чтобы извлечь из него еще узел, который тоже надо развязывать.

Мы все согласились, что у нас чересчур злой и несдержанный водитель... Нельзя же так сердиться на старика.

Развязав и этот узел, старик отвернулся от кабинки и, образовав собой полусферу, шуршал в ней. Развернувшись, он просунул шоферу бумажку. Тот поморщился и взял. Взял и тронул.

Последнее, что мы еще видели, — это как старик протягивал молодую козочку отпускнику.

Стало свободнее. Но это ненадолго.

Скоро мы нагнали живописную группу... Осел. На нем старуха в черном. А сзади, держась за хвост осла, — еще старуха, такая же черная.

— Автомобиль с прицепом, — сказал Саня.

Старуха отпустила хвост и проголосовала.

Другая старуха слезла с осла, и оказалось, что она сидела на мешках. Оказалось, они везли кизяк. Они сгрузили мешки с осла, и тот же Коля погрузил мешки в машину. Туда же он посадил одну из старух.

Мы ехали. Ехали ныряя — в гору, с горы. А во-

круг раскаленный желтый камень. И обжигает лицо раскаленным ветром. Но дышится легко. Воздух сух и чист.

Как ни странно, мы напуганы ленинградской жарой. Редкой, но влажной. В Азии жара легче. В Ленинграде климат хуже.

Благодатная страна — Азия!

А я сижу на мешке с кизяком и думаю, что все-таки это совсем другая и чужая мне страна.

МЕЖДУГОРОДНАЯ

В чужом городе быстро исчерпываешь все дела. Особенно, если ты один.

Почему-то рано проснешься. Еще не жарко. Сходишь домой... Тьфу ты! Сходишь на почту, напишешь домой. купишь газету. Побродишь по городу, пока откроется столовая. Наконец позавтракаешь. Выйдешь из столовой — уже жара.

Пойдешь купаться.

Купание прекрасное! Вода прохладная, чистая, быстрая. Но скоро понимаешь, что надежду освежиться надо оставить. Даже хуже: растравляешь себя только. Выйдешь из воды — и уже снова жара, снова лезь в воду. А пока оденешься — словно и не купался.

Ну, сходишь на базар.

Походишь по рядам, выбирая. Взмокнешь и уже совсем запутаешься, что дешевле и что лучше. Впрочем, все равно — все фрукты тут хороши. Поторгуешься. И если выторгуешь копеек пятьдесят,

уйдешь крайне довольный своими финансовыми способностями.

Ну, съешь фрукты... Ну, купишь еще газету и посидишь в чайхане. Ну, выпьешь, положим, даже пять чайников...

Ну что еще?

А времени прошло — почти ничего.

Пойдешь обратно в гостиницу... Это так скучно — гостиница днем! Никого. Пустота. Дремлет на диване дежурная. Откроет глаза, посмотрит на тебя смутно. А ты бы и непрочь заговорить с ней... О том, как нынче уродились фрукты, о ее мальчишке-сорванце, об этих несносных врачах, а потом о доме, о «там в Ленинграде»... А она уже снова закрыла глаза, ей лень и вообще все равно до тебя.

Проходишь двор... Спит банщик на скамейке под чинарой. Перебежала из двери в дверь прачка в одной рубашке...

Пусто. Пустой двор.

И вот ты шатаешься, шатаешься по улицам...

Куда пойти?

К кому?

Это очень далеко, где можно пойти куда-то и к кому-то. Совсем в другом городе.

В Ленинграде это.

Я пошел на переговорный пункт и заказал разговор с Ленинградом.

До разговора надо было деть куда-то еще шесть часов. Сходил в кино. Еще раз поел. Снова пошел купаться.

В общем, эти шесть часов прошли даже незаметно.

Потому что я думал о том, что вот разговор, как там Ленинград, как друзья, как мама. Думал о том, что скажу Ире, что расскажу о себе. Ведь телефонный разговор не шутка, я-то знаю, говорил не раз. Попробуй скажи все за пять минут, да еще если плохо слышно. Чтобы что-то успеть сказать, надо продумать, о чем и как. Так я рассуждал, сидя в кино, в столовой, на пляже.

Я скажу ей, что она хорошая, что я очень люблю ее и скучаю.

Я скажу ей, чтоб она берегла себя.

Я скажу ей, что очень хочу ее видеть, слышать...

Я скажу ей, что нет ничего лучше Ленинграда: как он там?

Я скажу ей, помнит ли она меня, ждет ли, тогда как я очень помню и жду.

Я скажу ей, не приснилось ли мне все это, что мы были вместе, рядом. Помнишь, совсем недавно, мы шли по берегу озера, всюду были люди, и тогда мы пошли прямо по озеру, оно мелкое в этом месте и заросло зеленым ковром, который прогибается под нами при каждом шаге, и мы качаемся, как на качелях, и уходим от людей вон к тому островку, и при каждом шаге фонтанчики теплой воды из-под пальцев, а Рекс, пес, которого нам оставил Сережа, носится по болотине кругами как угорелый, а ковер под ногами такой широкий, такой зеленый, и когда мы пришли на остров, там тоже были люди, а мы пошли дальше...

Я скажу тебе: здесь такая прекрасная страна! Все, что вижу, мне так хочется тебе показать,

чтобы вместе ходили, смотрели, удивлялись... Здесь такая чужая мне страна... что не нужна она мне.

Я скажу тебе...

Я даже записал на бумажке то, что скажу, по пунктам, чтобы не забыть у телефона. И при этом мысль о собственной опытности доставила мне удовольствие.

Вечерело. Была самая жара. Тот момент, когда зной стоит, стоит и вдруг начнет спадать. Но он все стоял...

Оставалось полчаса.

Я решил переждать их в переговорном пункте.

Разные люди — узбеки, таджики, русские, мужчины и женщины — сидят по стенкам бок о бок. Ждут. Осматривают каждого новоприбывшего. Потом снова смотрят перед собой. Сидят рядом, но как-то отдельно друг от друга. Строй фанерных будок. Все слышно, что там говорят. Фразы из разных будок накладываются одна на другую. И на все накладывается голос из репродуктора:

— Наманган, вторая кабина!

— Надя, как твоё здоровье? Не очень хорошо... А когда ты собираешься поправиться? Нелепый вопрос?..

— Что? Что?! Не слышу!

Неорганизованные люди, с удовлетворением думаю я. Так они ни о чем не договорятся.

— Москва, первая кабина. Москва! Кто ждет Москву! Москва на проводе!!! — сердится голос в репродукторе.

— Уже пять минут, как должны соединить, — говорю я.

— Это ничего по сравнению с вечностью, — важно роняет сосед.

Дурак! — обозлился я.

Сосед задумчиво роняет монетки в шляпу.

— Два часа жду, — говорит. — Нет дома. Куда делась?

— Ни одного письма от тебя... — говорит девушка в одной из кабин. Тоненький голосок... И вдруг басом, вот-вот заревет: — Я прямо с ума схожу... Что? Почему у меня такой голос? Простудилась. Хожу каждый день купаться... Одна. Конечно, одна.

— Все врет, — со злостью говорит сосед.

— Наманган. Наманган! Четвертая.

Свинство слушать, думаю я.

Читаю на стенке: «Предметы, запрещенные к пересылке по почте... Во всех почтовых отправлениях запрещается...»

Скоро ли... Скоро ли! Чего они тянут!

«Пользуйтесь стандартными текстами поздравительных телеграмм... Всем семейством поздравляем, счастья в жизни вам желаем. Форма 5-а.

...дальнейших успехов в работе...

...Новый Год... Первое Мая...

...Форма 6-г...»

Ожидание нагнетается и становится невыносимым. Что-то препротивно закручивается внутри. Намерение еще чем-то отвлечь внимание не приводит ни к чему. Чуть не рычу. Ни о чем не подумать...

Я думаю о таком странном состоянии, когда что-то закручивается внутри. Такое же нетерпение

бывало в детстве... Потом я думаю о детстве. На сколько все получилось не так, как думалось в детстве. И я думаю, что совершенно не могу себе представить, что будет со мной через столько же лет в будущем...

— Ленинград, первая. Ле-нин-град! Поспешите в первую кабину...

Я отряхиваюсь, понимаю, где я и что я, успеваю в какую-то секунду облиться с ног до головы потом и бросаюсь к кабине.

— Алло, — кричу я. — Алло!

— Боря... — Голос далек и слаб. Совсем искаженный голос.

— Да, это я, — говорю я и молчу.

— Ну, как ты там?

— Да что я... ты о себе расскажи, — говорю я.

— Да что мне рассказывать: все так же, все как знаешь. Ты о себе расскажи — это главное.

— Да что мне говорить, — говорю я. — Все как я уже в письмах писал. Тут надо о том, о чем только сказать можно...

— Ты же все знаешь...

Стесняется она, что ли? Вечно кто-нибудь торчит в этом коридоре!

— Как все там живы-здоровы? — говорю я.

— Все в порядке. Все живы и все здоровы.

— А Катя как?

— Хорошо Катя.

— А мама?

— И мама здорова.

— А как твои?

— Хорошо.

— На даче?
— На даче.
— А Петька?
— Петя тоже на даче.
— Ну, а как же все-таки ты?
— Я... так же я. Приезжай скорее, — голос тихий-тихий. И вдруг обрадовался голос: — У меня рожа.

— Что?! Пфу! Прфу-у! — дую я в трубку. — Алло! Алло! Пф-фу-у! Пф-у-у! Алло, Ленинград! Да что же это такое! Неужели все? Ничего и не сказал...

— Пф-фу! Пфу! Алло!!! — ору я.
— Да, Боря. Что у тебя там за помехи?
— Сам не знаю, — говорю я.
— А сейчас их нет.
— Так это я, наверно, трубку продувал, — догадываюсь я.

— А ты не продувай, — говорит ее голос и смеется.

— А что же мне делать? — говорю я.

Смеется.

— Так что же с тобой? Я не понял, — говорю я.

— Рожа.

— Что такое! Ты не треплись: времени-то мало...

— Я и не треплюсь. Это кожное заболевание такое.

— И очень пострадало лицо? — озабоченно спрашиваю я.

— Лицо? — смеется. — Вовсе не лицо, а на руке. Я мыла кости для собаки — уж такие достала

вонючие, что мне их даже даром отдали, — мыла и поцарапалась. Теперь ни купаться, ни мыться не могу. От воды вздувается — просто ужас!

— Так, значит, Сережа не приезжал за своей собакой?

— Не приезжал.

— И не приедет?

— Конечно, приедет.

— А как собака?

— Что?

— Как собака?!

— Говори громче, ничего не слышно.

— Как собака?! — ору я.

— Что, очень устаешь, да?

— Да нет же, я про собаку!!!

— Хорошо, хорошо. Что ты так громко кричишь?

— Да ты же сама говоришь, не слышно.

— Все в порядке с собакой. Ей-то прекрасно...

— А тебе от нее достается? Все так же лает?

— Что?

— Так же лает, говорю!

— Ничего не слышу.

— Лает!!! — ору я.

— Кто лает?

— Собака лает... — говорю я и чувствую себя окончательно идиотом.

— Ну конечно, что же ей еще делать... Боря, ну при чем тут собака?

— Конечно, ни при чем, — соглашаюсь я.

— **З а к а н ч и в а й т е. З а к а н ч и в а й т е.**

— Я все не то говорил, — кричу я.

— И я.

— Правда. Скажи...

— Разговор окончен.

Я еще некоторое время ору в немую трубку... Может же быть так, что только я ее не слышу, а она меня слышит?..

Потом вываливаюсь из будки. Какая духотища! Это надо суметь так взмокнуть! Как мышь. Осторожно, двумя пальцами, отлепляю от тела рубашку и брюки.

А тут сидят и ждут люди и делают вид, что не замечают меня. Мне неловко этих людей: ведь они все слышали... И я выскакиваю на улицу как пробка.

Так хорошо! Жара уже спала. Потянуло холодком. Набираю полную грудь. Иду. Только сейчас и замечаю, что кулак судорожно сжат. Еле разжимаю: затек. Там совсем мокрая бумажка с пунктами. Какие глупости!.. Выбрасываю.

А в ушах и внутри долго еще звучит ее смех.
Голос.

Глупости. Больше ничего и не надо.

Я улыбаюсь девушкам. Помогаю старушке поднести кошелку с базара. У нее сын недавно женился... А невестка, хоть и хорошая девушка, но попробуйте с ней поживите... Все будет прекрасно, говорю я ей. И иду дальше. Помогаю мороженщице катить тележку.

Покупаю лотерейный билет.

Долго беседую с дежурной в гостинице и с узбеками, соседями по комнате.

И засыпаю.

ГАДЫ И ФРУКТЫ

Глядите — хо! — он пляшет,
как безумный.
Тарантул укусил его...

По

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Больше всего я боялся, что меня кто-нибудь укусит. Я расспрашивал знакомых, которые бывали в Средней Азии. Ровно половина рассказывала страшные истории, и ровно половина говорила, что все ерунда и легенда. Я так толком и не мог понять, что мне делать: бояться или нет. Неразрешимых вопросов, впрочем, нет. Есть Большая Советская Энциклопедия:

«ФАЛАНГИ, или сольпуги, или бихорхи... Тело членистое, подразделено на головогрудь и десятичленистое брюшко... Конечностей шесть пар: верхние челюсти — для нападения и защиты, нижние челюсти, или ногощупальцы, третья пара — для

осязания, 4—6-я пары — ходильные... Раздельно-полы, яйцекладущи, развитие без метаморфоз... Более 600 видов...»

«СКОРПИОНЫ... Тело длиной до 18 см... Две ядовитые железы открываются на конце острого крючковатого шипа — жала... Ног 4 пары, глазков 3—6 пар... Известно около 500 видов... Уколы С. очень болезненны, а уколы крупных С. могут оказаться смертельными».

Не знаю, из каких соображений именно так началась статья о скорпионах. Почему бы не сообщать об этом где-нибудь в середине? Зачем такие аккорды...

Но все это пустяки. А вот что меня потрясло, так это кара-курт! Самка превосходит самца в 2,5 раза и в 160 раз более ядовита. Если начать представлять, что такое быть в 160 раз более ядовитым, чем уже ядовитый кара-курт-папа, — это кружит голову, как астрономия. Но этого мало: оплодотворившись, самка убивает самца и пожирает его...

Не правда ли, милое животное?

И кто может мне гарантировать, что я буду иметь дело только с мужчинами?

ЗМЕИ

Они попадают сравнительно редко. Однажды, уж совсем заморились за смену... Еще был с нами мальчишка, Петя, приехал из города к брату погостить. За компанию с нами на смене был.

Сидим, дремлем.

Вдруг он как заорет:

— Змея!

Вскочили, конечно. Где змея! как змея? А змея испугалась — под настил забила. Так мы чуть все доски по очереди не содрали, пока поймали... Ну, прибили змею — и все.

Только мальчишка все с ней забавлялся. Поразила она его очень.

А нам почти до конца смены пришлось доски обратно приколачивать.

Притомились.

— Давай-ка уху заделаем!

Ухой мы чай зовем. Подзываем Петю:

— Петя, сбегай за водой...

Петя — в одной руке котелок, в другой змея — помчался, прыгая и улюлюкая вниз, к роднику.

Вернулся, поставил котелок. Грустный какой-то.

— Что с тобой? — спрашиваем.

— Змею-ю потеря-я-ял...

— Как же это ты так?

— Да вот, взялся за хвост, раскрутил над головой — даже засвистело. И вдруг хвост оторвался, а змея улетела... Искал-искал — нету.

— Непрочная какая... — сказали мы.

СКОРПИОН

Надо сказать, и кара-курт, и фаланга в общем благородные звери. Так, за здорово живешь, они тебя никогда не тронут. Будут ползать по тебе, а не тронут. Разве что придавишь.

Скорпион — другое дело. До чего уж подл! Так и норовит цапнуть. Не успеешь слова сказать — он уже бьет.

И зря утверждают, что они самоубийством кончают. Это для них слишком благородно. Сколько раз мы их ловили — и ни разу. И такая уж была обстановка: дураку ясно — пора кончать. Нет, ни разу.

Но вообще-то, все эти гады — дело здесь привычное.

Даже развлечение.

Сидишь на вышке. Станок крутится, гудит. И так в сон клонит — мочи нет. Особенно в ночную смену. А тут изловишь скорпиона да фалангу... Ночью их много на свет набегают. Поймаешь — или ниточкой за лапки свяжешь, или так стравишь. Зрелище — хоть куда. Уж до чего злы!

И, надо сказать, фаланга, как правило, скорпиона забивает.

ФАЛАНГА

Пакость это, прямо скажем, ужасная. То есть от одной мысли, что такая тебя может укусить, стошнит. Такой зеленый, толстый и мохнатый паук. С черным клювом.

Одно слово — гад.

Вернулись как-то мы со смены. Пообедали. И присели покурить на ступеньке столовой. Вдруг бежит к нам Санька с таким видом, словно он жемчужину нашел. Подбежал — видим, между двумя щечками держит фалангу. Да такую здоровую,

что мы таких никогда и не видывали. С ладонь. Сучит своими толстыми и мохнатыми, словно в штанишках, лапами.

— Вот, в уборной поймал, — радостно говорит Санька.

Присел рядом с нами, сложил фалангу у наших ног.

Только щепочкой придерживает, чтоб не убежала.

Сидим решаем, что с ней дальше делать. То ли сжечь, то ли лапки оторвать, то ли попугать кого-нибудь. И тут видим: курица за нами наблюдает. Стоит скромно в сторонке и все голову к нам кривит.

— Стравим ее с курицей, — говорит Санька.

Дружное одобрение.

Отшвырнули мы фалангу чуть поближе к курице и смотрим.

Фаланга стоит на месте, еще очухаться не может — озирается.

А курица робкими шажками и как-то по кривой, но уже подбирается к ней. И все боком поглядывает и головой так смешно и сосредоточенно подергивает. Обошла фалангу и остановилась в полуметре сзади. Чтоб та не видела. Потом, словно ее подменили — куда только девалась недавняя вкрадчивость, — как прыгнет к фаланге, тюк-тюк ее клювом в самую серединку и снова отскочила.

— Так ее, так! — закричали мы.

Фаланга покрутилась на месте и снова остановилась. Курица опять зашла к ней с тыла, подскокила — тюк-тюк-тюк! Приподняла голову, посмот-

рела, выжидая. А фаланга уже и не шевелится. Тут курица подхватила в клюв фалангу и как понеслась во всю прыть, кокетливо раскидывая ноги. Забежала за угол. А туда уже другие куры бегут: жирная добыча. А курица с фалангой от них. И все скрылись.

Уж мы хохотали! Столько они нам удовольствия доставили...

— Да, — сказал вдруг Толик, раздумчиво и серьезно, — курицам тоже нужно мясо... Для них это мясо.

КАРА-КУРТ, ЧТО В ПЕРЕВОДЕ ОЗНАЧАЕТ «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ»

А это один из знаменитых рассказов Толика. Вот как оно бывает с кара-куртом на самом деле...

Вечером Толик выпил. И не то чтобы выпил — просто встретил приятеля. Ну, выпили. Выпили в честь того, что выпутались из переделки, в которую впутались, когда выпивали третьего дня.

Толик пришел домой не то чтобы пьяный. Пришел и рухнул в постель под причитания жены. Во сне он икал, рыгал, клокотал, ворочался, раскидывался, задыхался, ругался, дрался, свистел, сопел, хрюкал, чавкал, чмокал, плакал, храпел — в общем, спал беспокойно. Потому что, во-первых, он все-таки выпил, во-вторых, была отвратительно душная ночь и, в-третьих, с утра было на смену.

Однако к смене он не проспал. Он даже проснулся раньше обычного: было всего часов шесть.

Все гудело, саднило, трещало, ломало, горело — в целом, много неприятных ощущений. И все бы ничего особенного, если бы не было еще чего-то не совсем похожего в ощущениях. Так он лежал, неподвижно, переживая похмелье, пока не выделил необычное беспокойство в единицу: особенно горело плечо, и вообще он был полупарализован. Он отвел плечо и увидел трупик кара-курта.

«Придавил, значит, беднягу...» — подумал он, пряча кара-курта в портсигар.

Он даже испугался, но потом вспомнил, что первое средство (а в больнице ему быть не раньше, чем через два часа)... первое средство — наспиртоваться. А в этом отношении ему повезло.

Но и еще не мешало бы...

Обдумав все это, он растолкал жену.

Жена, уснувшая сердитой, проснулась тоже сердитой. С криком.

— Беги к Бобру — неси пузырек, — сказал Толик, суммировав в этой краткой фразе свои предыдущие рассуждения.

Жена, конечно, возмутилась и сочла, что Толик потерял всякую совесть. Что ему уже мало выпить тайком, так он уже ее саму нахально за водкой посылает, да еще с утра...

— Хватит, — сказал Толик. — Поспеш. Меня кара-курт кусил.

Та, конечно, не поверила — и нет предела его наглости... Но Толик — он только молча раскрыл папиросницу и ничего не сказал. Жена быстренько выскользнула из палатки в предрассветное утро.

Она растолкала Бобра (нашего завмага), объ-

яснилась с ним и, пока тот шел открывать свою лавочку, сбегала к начальнику, добудилась и его, а тот растолкал шофера и велел срочно собираться в город и везти Толика в больницу.

Через пять минут гудел весь лагерь. Жены, вставшие раньше своих мужей, чтобы приготовить завтрак, узнали о случившемся, и от их крика проснулись мужья, много раньше обычного. Следом проснулись дети.

К Толику потянулись паломники. У палатки образовалась очередь. А Толик допивал лежа свою бутылку, открывал и закрывал портсигар и рассказывал, уже туманясь и заплетаясь, как он его, голубчика, того...

Толик не удовлетворил еще и половины заинтересованных, как бутылка кончилась.

— Тащи еще пузырек! — крикнул он жене. — Да живее — для жизни опасно...

Он выпил еще с полбутылки, когда шофер собрался: Толика с великими почестями, на руках, отнесли к машине. Он что-то горланил, размахивая почему-то не парализованными руками: в одной было полбутылки, в другой — портсигар.

Ехать было далеко, Толика растрясло, он уснул и очнулся уже у самого города, на подъезде к мосту. Проснулся и почувствовал, что, пока он спал, кара-курт не дремал. Пожалуй, что он, Толик, почти уже не мог пошевелиться. Однако он сделал над собою усилие и допил водку, а бутылку вышвырнул в реку.

Шофер сгрузил его у больницы, хотел проводить, но Толик прогнал его.

— Я сам! — кричал он, путаясь в турникете, что не мудрено, если человек укушен кара-куртом и уже почти полностью парализован.

В приемном покое несколько удивились. И даже не хотели принимать. И даже хотели вызвать милиционера. Что естественно, если в чистых, тихих покоях вдруг появляется такая колеблющаяся фигура, что даже не разглядеть. словно фотография не в фокусе. Но эта тень орет, гремит, опрокидывает стулья, матерится и хватается за грудки, а грудки — это белоснежный крахмальный халат.

Но фокус с портсигаром, в котором был маленький паучок, удался Толику и тут.

Как-то его умыли и переодели, что-то ему впрыснули, и он проснулся на следующее утро, ничего не понимая в этой чистоте. Хотел закурить и ничего не нашел. И вообще обозлился.

Явилась чистенькая, аккуратная сестра, чтобы сделать ему укол.

Толик категорически отказался. Слишком категорически...

Конечно, скандал. Конечно, слезы.

Увещевали. Стыдили. Приходил главврач.

Кое-как успокоили. Приготовились к уколу.

«Надо же, — рассказывал Толик, — разве ж это врачи! Мясники. Ка-а-ак она мне всадит!.. Игла — с полметра. Не шприц — бутылка. Да еще у нее не сразу получилось, так она меня раза три тыкнула. Что там кара-курт — ерунда. Я как вскочил, шприц разбился, а ее словно ветром сдуло. Опять появились всей бандой. И что-то мне еще вклеивают... А сами уколов делать не умеют...

— Выписывайте, говорю, меня к такой-то матери! А не станете — удеру.

И удрал.

У приятеля в городе переоделся. Ну, полечились мы немного...»

Толик вернулся на следующий вечер. Хорошо выглядел...

А наутро вышел на работу.

ФРУКТЫ

Ну а фрукты — совсем другое дело!

ФОРМЫ ТЕПЛА

ЖАРА

Я сплю на крыше. Поперек ущелья. В ногах хребет и в головах хребет. Солнце восходит из-за моей головы, вернее из-за тех гор, что у меня в головах. Оно высовывается из-за острого гребня: долька, половинка... И вдруг встает на гребень, румяное и круглое, как колобок. Кажется, крикни, и оно покатится вниз по склону. До самой нашей базы. Солнце высовывается из-за гребня, и начинается перестановка, перераспределение света и тени. Лучи падают на вершины противоположного гребня, того, что у меня в ногах. Линия, разделяющая освещенную верхнюю часть гребня и теневую нижнюю, сползает вниз. А солнце поднимается вверх. Вот и весь склон освещен. Тени бегут. И даже на дне, где находится наш поселок и особенно застоя-

лась тень, даже тут светлеет. Свет занимает окраинные дома поселка и стремится к центру. Подобрался к моей крыше, осветил ноги. Ногам становится жарко под ватным одеялом, сон слабеет. И вот свет ударяет в лицо, будит. Помычишь, покрутишь головой — проснешься. Делать нечего — солнце.

А если сон так крепок, что не проснешься от первых лучей, то все равно проснешься вскоре. Но проснешься разбитый, мятый, смурной. И целый день будешь ползать как муха.

А солнце стоит где-то над нами. И освещает уже и левый склон, и правый, и дно ущелья. А ведь еще так рано... и ты совсем не выспался.

Куда деться от солнца?

Дома накаляются, в комнатах душно и набиваются мухи. А деревьев тут нет. Ни сени, ни шума листьев. Нету деревьев. Единственная тень — от домов. Выносишь койку, приставляешь к стенке, в тень. А тень уменьшается, тает. И становится шириной в полкровати. Больше не поспишь... Можно еще так полежать. Но вдруг сетка под тобой начинает ходить ходуном. Оказывается, под кровать забился козлик и пытается устроиться поудобнее. Под кроватью — тень. Выгонишь козлика — там спрячутся куры: им там достаточно и тени и места.

А настырное солнце лезет и лезет вверх.

Весь поселок вымер. Даже непонятно, куда все попрятались. Начинаешь слоняться по поселку. Никогда в жизни не приходилось бродить так медленно. Зайдешь на кухню: что будет на обед? Уйдешь из кухни: мыслимое ли дело стоять в такую

жару у плиты? Зайдешь в клуб, шуганешь шара, он замечется по бильярду... Выйдешь из клуба... Тот же назойливый, надоедливый свет. После темного клуба ломает глаза. Та же жара.

Вдоль домов узкая, полуметровая тень. В ней, прижавшись мохнатым боком к стене, выстроились козы, нос в хвост. Они стоят тихо-тихо, как неживые. Если бы они встали поперек, им бы уже не хватило тени.

Три часа. Самая жара. Пора на смену.

Я подхожу к трубе, из которой узкой струйкой журчит в бочку вода. Подставляю голову. И направляюсь в гору. С волос течет по груди, за шиворот, по спине: приятно. Два километра вверх, в гору, до нашей вышки. Через полкилометра голова суха, а тело мокрое, но уже от пота.

Доползешь — и полчаса отходишь в тени вышки. И пьешь, пьешь...

Но вот с гиком и улюлюканьем побежала вниз предыдущая смена. Их смена кончилась.

Наша началась.

Вставай к станку.

Жара...

А где-то там идет снег.

ТАШКЕНТ

В данном случае это не город. Это костер. Ночью в горах холодно. Пробирает до костей. И темно, конечно. Особенно, если луны нет. А луны, как ни странно, все больше нет. Из-за гор, может быть.

Ночная смена. Пока подымешься — разогреешься, взопреешь. А вышка на гребне — со всех сторон ветер. И сразу начинаешь зябнуть. Натянешь ватник — все равно. Станок крутится. Сидишь и стынешь.

— Заделаем Ташкент? — говорит Толик.

— Заделаем, — говорю я.

Насобираем вокруг вышки негодных ящиков, досок, щепок — этого барахла всегда скопится за день. Соберем это в кучу, плеснем солярки...

Горит!

Жарко, ярко. Сразу как-то веселее на душе. Огонь мечется, пляшет, подставляя бока ветру. Куда кинется язык, отступает ночь. А вокруг она сгущается еще больше, еще чернее. Мы с костром — словно это весь мир, площадь которого — свет костра. И больше ничего никогда не было.

Лежим у костра, смотрим в огонь. Иногда на станок: как он там крутится? И снова в огонь. Разговариваем. Говорим словно не друг другу, а костру. Подбрасываем в огонь слова...

— Какая она была красивая!.. — Это Толик. — Она была главврач поликлиники, а я шофер. Возил ее. Однажды она сказала: «Сегодня нам никуда не надо — поехали купаться». А я был молодой, красивый — не то что сейчас. Веселый был. Поехали мы купаться. Красивая была... Покупались, потом она говорит: «Поехали к тебе, хочу посмотреть, как ты живешь». Ну, поехали... Я еще по дороге домой позвонил: хозяйка моя, такая старушка, — все понимала... Приезжаем — уже столик накрыт, коньяки, закусочка. Деньги у

меня тогда водились. Холостой был — зарабатывал неплохо. Выпили мы хорошо... Песни попели. Я на гитаре. Она так... Эх, сейчас бы гитару!

— И я помню. — Это говорю я. — У меня тоже...

— Вот какие дела, — Толик словно не слышит и продолжает: — И еще была... Дочка директора театра. Я тогда в Куйбышеве работал. Какая была! Одевалась... каждый день новое платье. Ну, каждый день. Я сначала и не думал. Служил шофером в театре. Ну, возил ее иногда, конечно... Она сама меня пригласила: у меня, мол, день рождения, то да се...

И так полночи. Про красивую жизнь, про красивую любовь... Не иначе.

Вдруг замолчим. Смотрим в костер. Подбросим досочку, плеснем еще солярки. Развеселится, зашуршит огонь. Выплеснет в небо сноп искр.

— Ты посмотри за станком, я вздремну немного, — говорит Толик.

Натягивает воротник на голову, а голову втягивает в воротник. И, спящий, становится каким-то маленьким.

Я слежу за станком: гудит, крутится. Посмотрю на приборы: показывают.

Я лежу на животе. Подбородок на кулаках. Передо мной мир — пятно. Камешки. А за камешками стена огня. И в этом мире разворачиваются свои события...

Огневки слетаются на свет. Вот одна, большая, уже опалив крылья, упорно ползет по камням к костру. Когда подползает слишком уж близко, испу-

ганно бросается обратно, неуклюже взмахивая полуобгоревшими крыльями. И снова ползет к костру: Упорно делает одно и то же, как заведенная.

Выпрыгнул из темноты кузнечик. Сел на камешек под самым моим носом. Сидел, грелся, шевелил усами. Смотрел на костер. Неподвижно, заворуженно. Вдруг заволновался. Собрался: хорошо тут с вами... — и прыгнул обратно в темноту. Свои дела...

Выползла фаланга. Ее я казнил.

Смотрю на огонь... И вспоминаю, что уже было так. На берегу озера. Между озером и лесом. Тоже костер. И тоже палились на нем огневки. Только фаланг там не было. И так же, вобрав голову в плечи, спала Ира...

Или как полз муравей по песку. Мы сделали в песке воронку и посадили на дно муравья. Он сразу же побежал вверх по склону. Он очень торопился, но продвигался крайне медленно, потому что песок осыпался под ним. Но в конце концов он добирался до самого края воронки, и тут край обваливался... И он начинал все сначала. Он даже не медлил, чтобы собраться с силами — сразу бросался по склону, вверх, вверх. И снова падал вниз, вниз... И все-таки выбрался. И побежал в том же направлении, словно ничего и не было, серьезный и организованный.

Мне бы так!..

Как редко видишь этот мелкий мир... Странно. За всю жизнь можно пересчитать по пальцам. И хватит одной руки.

Вот тоже было... Обиделся я как-то на всех и

на все. Мир почернел. Я сел в электричку и уехал. Потом слез, шел, шел. Уже утихший, сладко жалел себя. Вышел на луг. И бухнулся в траву. Лицом вниз. Огромный, мощный лес встал перед моими глазами — трава. И жители этого леса — огромные звери. Я смотрел, смотрел... И как-то все встало на свои места. Я потом все собирался еще раз съездить. Все собирался...

Непонятно только, когда мы успели ко всему привыкнуть?

Самые обычные вещи: раннее утро, заход солнца, звездная ночь, зимний лес, костер, лунный свет на снегу, небо... Родной город, родной дом, любимые люди... Все-то мы знаем. А что мы помним? Два-три рассвета, запавшие в память на всю жизнь. Четкие, словно это было вчера. Одну-две лунных ночи. Всего одну-две.

Один раз (а то и ни разу) мы увидели небо над головой. Не так: «Смотри, какое небо!» или «Ах, какая голубизна!» — не так. А так, чтобы не уметь говорить — и небо, небо над головой, — все небо! Как увидел его князь Андрей на Праценской горе.

Почему мы не видим? Не удивляемся?

Может, некоторым выпало чего-то больше. Чего-то меньше. А у некоторых чего-нибудь вовсе не было. Это не важно. Важно, что все эти вещи чрезвычайно редки в каждой жизни...

Проснулся Толик. Растерянное, измятое лицо. Протягивает руки к костру, словно гладит.

Размывается чернота над хребтом. Светлеет. Догорает костер.

ПИШУТ ПИСЬМА

Забавное соображение приходит вдруг в голову: мне же гораздо ближе в Индию, чем домой. Во много раз ближе.

Над нашей вышкой пролетает самолет в Китай. ТУ-104. В полдень. Как раз полсмены. Еще пять минут — и он за границей. Вышка стоит на месте.

Нам приходят письма.

По этому поводу — тоже странное соображение. Письма... ведь это поразительно бессмысленное дело!

Представьте себе, что вы далеко: письмо до вас идет неделю или больше. И ваше туда — неделю. Вот вы читаете, волнуетесь и безусловно воспринимаете все сегодняшним днем. В этом вся соль письма. Вы представляете, как именно сейчас движется, думает тот, кто вам пишет, что с ним случилось, что происходит вокруг... И в жизни как говорят? «Что он вам пишет?» «Вот, смотри, друг мне пишет...» В настоящем времени говорят. А на самом деле писал он неделю назад. Уже и забылось ему то, что волновало его в тот день. Но вы отвечаете ему так, как будто он вам только что все сказал. «Ты совершенно правильно написал, что... Я, пожалуй, согласен с тобой насчет... На твоём месте я бы так не поступил...»

Вы отправляете письмо. И оно идет туда неделю.

Две недели, полмесяца, а то и больше разделяют вопрос и ответ.

Ваш адресат получает письмо и с трудом вспоминает, о чем же он таком писал, что вы с ним не согласны или, наоборот, хвалите. Все это было так давно. Сегодня свои заботы, мысли, другие, чем тогда.

Но он вас любит, он ищет в письме прежде всего, что вы пишете о себе. Находит. Волнуется. И отвечает вам точно так же, как вы ему.

В разлуке все приукрашается: город, дом, люди. И письма отражают это, а отразив, идут дальше — уводят вашу память, — все прекраснее, прекраснее становится то, что вы покинули.

Письмо, мягко говоря, — не совсем правда.

Но, может, мне это только кажется? И я сам искажаю все. Потому что ревную ко всему, что оставил...

Как они нужны, эти письма! Пусть не то, пусть неправда, пусть прекраснее, чем на самом деле.

Как мы их ждем!

Пишите нам.

НАШЕ МОРЕ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ВИДЕЛ МОРЯ

Отработал неделю в утро — воскресенье. Неделю в вечер — воскресенье. Неделю в ночь... снова воскресенье.

— Вот так всю жизнь, — говорит Саня.

Снова семьдесят километров по желтым раскаленным горам. В кузове. А сегодня еще жарче, чем вчера. Пропылились, пропеклись...

Пить!

Скоро уже, скоро город. Там и попьем...

А вот и река. Широкая, гладкая, такая прохладная на вид. Зеленые берега.

А вот и город. Сады, улицы.

А вот и мост.

— Приехали!

Сейчас сразу — и купаться.

Выпрыгиваю из машины и чуть не падаю: ноги какие-то не свои. Тут же у моста раздеваюсь, а с моста — в воду. Течение быстрое, подхватывает и несет. Плаваю, плаваю... Так бы и плывал всю жизнь! Но еще больше я хочу пить. Стоило чуть освежиться, и стало ясно, что больше всего на свете я хочу пить. Пиво. Ларек на том берегу.

Одеваюсь, бегу через мост.

Еле дожидаясь своей очереди. Кружка. Еще кружка. Холодное...

На этот раз ясно стало, что больше всего хочется есть. Порастрясло в дороге. Куда пойти: на базар или в ошхону?

— Дай-ка еще кружечку, Миша, — говорю я. Все его так зовут, все кричат ему: «Миша, Миша!» — этому толстенькому усатому таджику, и я говорю:

— Дай-ка еще кружечку, Миша...

Но больше всего хочется есть. Куда пойти: на базар или в ошхону?

Все становится каким-то замедленным. Желания тоже.

— На, — Миша подает мне кружку, — ты с горы?

— С горы...

— Вот видишь, я сразу увидел!

— Как это ты?

— Так... Я человек опытный. Здорово я отгадал?

— Здорово, — говорю я. Пиво ударило в голову. — Здорово, — говорю я, — хорошее у тебя пиво... Но больше всего хочется есть, — говорю я.

Как-то я совсем затормозился; ни идти, ни двигаться...

— О, в нашем городе можно съесть что хочешь! Нравится тебе наш город?

— Река у вас чудесная, — говорю я.

— Река — да. А ты был на нашем море?

— Море?

— Ну да, море. Он не был на нашем море...
Эй, слушайте, он не видел моря!

— Кто? Кто?

— Вот этот человек.

— Бывает же...

— Там человек, который не видел моря!..

— Где?

— Вот там, у ларька, толпа. Вон там.

— Море! Море!

— Нет, это вы серьезно?

— Что?

— Вы не видели моря?!

— Ну да.

— Откуда же вы свалились?

— Вон оттуда, с гор.

— Снежный человек...

— А-а-а...

— Так нельзя.

— Надо показать ему море.

— Сейчас мы ему покажем... море!

— Мы ему покажем!!!

— Гурам!

— Я!

— Немедленно гони сюда свой мотоцикл.

— Бегу.

— А мы пойдем навстречу. Я поведу его.
Мы идем. Сзади эскорт. Прохожие попадают
навстречу, не понимают:

— Куда ведут этого человека?

— Так его! Так!

— Что он сделал?

— Этот человек не видел моря.

— Не видел моря?..

— Моря-а-а...

Меня ведут.

Вот и Гурам с мотоциклом.

Садимся, едем. Толпа машет нам вслед:

— Увидите наше море!

— Прекрасное наше море!..

— Наше голубое...

— Наше синее...

А ведь больше всего мне хотелось есть... И не двигаться.

Город — зелень. И от города, вверх по реке, по пути нашего следования — тоже зелень. Но вот последняя глинобитка, кончились люди, и даже по берегам реки — пустыня. Слово все устелено шкурами верблюдов, желтое и многогорбое.

Мчатся слева и справа многогорбые желтые верблюды...

Я в коляске — почетный гость.

Мои проводники: за рулем Гурам, за Гурамом — Мурад.

Едем. Мои проводники перекрикиваются о чем-то по-своему.

— Сейчас мы немножечко остановимся, — говорит мне Мурад.

— Зачем? — спрашиваю я.

— Мы немножечко поборемся, — говорит Гурам.

— А море?

— Море? Какое море?

— Куда мы едем? — спрашиваю я невольно. (Кругом пустыня, и мотоцикл я водить не умею.)

— Ну конечно, на море. Вот немножечко разомнемся и дальше поедем.

Мотоцикл стоит у обочины. Я сжался в коляске.

Гурам и Мурад кружат друг вокруг друга. Полусогнувшись, на полусогнутых ногах. Вытягивают руки, пытаются ухватить друг друга.

— Суди! — кричат они мне.

Гурам ухватил Мурада. Нет, это Мурад ухватил Гурама. И Гурам и Мурад ухватили друг друга, полетели. Упали. Свалились. Мурад сверху, Нет, это Гурам сверху. Гурам. Нет, Мурад. Гурам — Мурад. Мурад — Гурам...

Ничего не разобрать! Пыль столбом.

Но вот они возвращаются. Обнявшись. Все в пыли, желтенькие. Довольные. Раскрасневшиеся.

— Гурам!

— Мурад! — похлопывают они друг друга по плечам.

Едем дальше. Изумительная дорога. Прямая как стрела. Автострада! Удивительно приятно ехать на мотоцикле... Жара, пустыня. А тебя продувает, обдувает. Еще бы!.. Сто. Сто двадцать. Да... что и говорить, прекрасный мотоциклист.

Но дорога — это чудо. Такая мертвая пустыня... А в ней — такая дорога.

— В прошлом году построили, — говорит Гурам. — Теперь есть где гонять на мотоцикле.

— Для этого строили... — говорит Мурад. — Смешно сказать: строили, чтобы Гурам гонял на мотоцикле!

— И для этого, — настаивает Гурам.

— Я строил — я знаю.

— Только он и строил, — говорит Гурам. — Один Мурад построил всю дорогу!

— Не один.

— Вот именно. Я тоже строил.

— Мы оба строили эту дорогу, — соглашаются Гурам и Мурад.

Дорога — что и говорить! Но и Гурам мотоциклист что надо... Спорит на скорости сто двадцать километров. Как дома!

Мертвейшая пустыня вокруг.

— Это наша целина, — говорит Мурад.

— В будущем году тут будет хлопок! — говорит Гурам.

— Да, теперь у нас есть вода. Теперь у нас есть — море... — кивает Мурад.

Впереди, посреди пустыни, вдруг вырастает юрта.

— Сейчас мы немножечко остановимся, — говорит Гурам.

— Снова бороться?

— Тут наш друг один живет.

Ничего, ничего, думаю я.

Подъехали. Встали. Из юрты вышел молодой узбек.

Долго обнимались. Тщательно.

— Останьтесь у меня немножко: Как раз плов поспел. Чаю поьем. Послезавтра вернетесь.

— Нам нельзя, — сказал Гурам.

— Зачем обижать! Кого обижать? Больше я вас не знаю. И вы меня не знаете. Всё.

Человек пошел к юрте.

— Ой! Ой! Ого! Ой! — закричали Гурам и Мурад и побежали за ним. Поймали, притащили обратно.

— Дурная голова, спроси сначала, почему мы не можем?

— Почему вы не можете? — покорно спросил убитый горем человек.

— Мы везем человека, который вообще не видел Моря!

— А! О! — трясет мне руки весь преобразившийся человек. — Очень рад.

— Что вы! Чему? — смущаюсь я.

— Вы должны ехать, — говорит он, — и немедленно. Только подождите минутку.

Он бежит в юрту и потом из юрты. В руках большой узел.

— Тут немного козленка, плов, сыр, дыня, лепешки и еще...

Мы прощаемся. Клянемся зайти на обратном пути. И снова едем.

А вот и море. Оно показалось справа. Тоненькая голубая полоска. В желтой горячей пустыне.

Дорога подбирается к морю. Действительно, море! Того берега не видать. Барашки.

Мы едем по берегу моря...

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Наверно, жители города очень обрадовались, когда стали справлять День Военно-Морского Флота с полным основанием. Еще бы, свое море! Правда, пресное. Но волны ходят в нем настоящие. И бывают штормы. И того берега не видать.

В парк культуры и отдыха на берегу моря съехался весь город. Трехдневная программа праздника была очень насыщена:

Гребные гонки.

Заплывы.

Конкурс на лучшего рыболова.

Работает тир.

Воспоминания моряков-фронтовиков.

Играет джаз-оркестр.

Танцы.

Играет духовой оркестр.

Концерт силами областной филармонии.

Массовые купания, гуляния и игры.

Цирковые выступления.

Массовые песни и пляски.

Костюмированный бал-маскарад.

Экскурсия на тот берег.

И многое другое.

Третий день, но программа еще не исчерпана.

Парк — это та же пустыня. Ни травинки. Лес фанеры. Будочки, ларечки. И крупные сооружения — рестораны — на суше и на море, всего — два. И аллеи фанерных щитов. Благодаря им вы можете узнать, что вам есть-пить, курить, как обращаться с зелеными насаждениями, как не ходить

по траве... Вы узнаете историю нашего флота, историю развития области и перспективы развития, и план развития парка культуры и отдыха в ближайшие три года.

Пока зелени нет. Но не все сразу. Будет. Великое слово!

По территории парка разгуливают толпы голых людей. Чрезвычайно популярны тельняшки.

Часть купается.

Мы поставили мотоцикл в огромное стадо машин. Такое у нас бывает перед стадионом во время матча. Гурам и Мурад увидели тельняшки и загорелись.

— Сейчас мы пойдем за тельняшками, — сказал Мурад.

— Тут есть специальный ларек, — сказал Гурам.

Действительно, была специальная будочка, и ничем, кроме тельняшек и тюбетеек, не торговала. Шла бойкая торговля. Узбеки брали тельняшки, русские — тюбетейки.

Гурам и Мурад были крайне эффектно в своих обновках. Они сновали по парку в необычайном возбуждении и таскали меня за собой.

— Мы должны тебе все показать...

— Сначала покажем ему тир, — сказал Гурам.

— Нет, цирк, — сказал Мурад.

— Нет, тир!

— Нет, цирк!

— Слушай, — сказал мне Гурам, — ну скажи ему, что ты хочешь сначала в тир...

— Он хочет в цирк! — вскричал Мурад.

— Ну, скажи, — сказали Гурам и Мурад, — куда ты хочешь сначала, в тир или в цирк?

— Я, пожалуй, перекусил бы, — сказал я.

— Постой, постой, ты нас не так понял, — сказал Гурам.

— Ты не так сказал, — подхватил Мурад, — ты хотел сказать, что ты хочешь в цирк.

Был цирк, и Мурад был вне себя от восторга. Был тир, и вне себя был Гурам: он попадал, мазал, кричал, что он мастер спорта, ссорился из-за винтовки.

Наконец все кончилось.

— Теперь можно перекусить, — сказал я.

По парку ходил голый человек в полосатых трусиках и кричал в рупор:

— Экскурсия на тот берег! Прогулка по морю. Прогулка по тому берегу. Возвращение обратно. Желающие, спешите!

— Сейчас мы поедem на тот берег! — сказал Гурам.

— Мы поедem по нашему морю...

— На этом большом теплоходе...

Меня повлекли к кассе. Гурам и Мурад оттеснили желающих.

— Пропустите, пропустите! Он не видел того берега, — предъявляли они меня. — Он вообще ничего не видел.

Маленький буксирчик запыхтел и отчалил.

Я стоял придавленный к борту. Команда каким-то образом порхала над головами.

— Плясать? Плясать! — закричали за моей спиной.

Раздался круг. Это я почувствовал по тому, как врезался в меня поручень. Такая шишечка.

— Блоп! Блоп! — хлопали ладоши.

Я не мог повернуться, чтобы посмотреть, как пляшут. Мои проводники были где-то в другом конце. И теперь я спокойно плевал за борт и предавался грустным мыслям о туризме. Плевков быстро убежал назад.

— Сниматься? Сниматься! — закричали голоса.

На трубе висел фотограф. Сложная, как акробатическая пирамида, выросла на корме группа.

— Петь? Петь! — закричали голоса.

— Причал! — орал капитан в рупор.

Экскурсанты высадились на берег. Я осмотрелся. Здесь была дикая природа. Не было ни будочек, ни щитов. Была голая пустыня.

Ко мне подошли Гурам и Мурад.

— Здорово? — спросили они.

— Здорово! — восхищенно сказал я.

Тут обнаружилось, что никто ничего не захватил с собой: все думали, что тут будет ресторан.

Заспешили обратно.

Когда мы снова очутились в парке, я сказал:

— Ну, теперь мы перекусим.

— Сначала бал-маскарад, — сказал Мурад.

Под большим тентом толпились люди. С краю примостился оркестр.

— Начинаем наш костюмированный бал-маскарад! — сказал длинноусый человек и снял усы, как пенсне...

...Наконец, раскрасневшиеся и запыхавшиеся, Гурам и Мурад отыскивали меня. Я ходил кругами. Центром был мотоцикл. И мы съели все, воздавая должное нашему замечательному другу.

Потом мы гнали по ночной пустыне. Тянуло свежестью и прохладой.

Вот это день! Мы ехали довольные и усталые.

ОДНА СТРАНА

ЧТО ЛУЧШЕ, ЛЕНИНАБАД ИЛИ ФЕРГАНА?

Никогда я не слышал, чтобы человек так смеялся! Это было на пути в Азию. Курящие собирались в тамбуре. Приближение родных мест определяло тему разговора.

— У нас в Намангане...

— А у нас в Ташкенте...

— А вот у нас в Канибадаме...

Люди возвращаются в родные места. Они и говорят. А едущие из родных мест — в командировку, в гости — прислушиваются. И я прислушиваюсь.

Один — очень симпатичный, большой и толстый узбек, с седым бобриком волос, флегматичного вида. Другой — противоположный ему...

Большой сказал:

- У нас в Фергане...
- В Фергане?.. Ну, что у вас в Фергане? —
напал противоположный.
- Ты что... Фергана знаешь какой город!
- Что ваша Фергана перед Ленинабадом?!
- У-ах-ха-ха-ха-ха! — захлебнулся большой. —
Ленинабад лучше?
- Вот и ты говоришь, что лучше.
- Я? И-иг-ги-ги-ги-ги! Я говорю?.. И-и-ог-го-
го-го-го!
- А что у вас! Ишаки...
- Ишаки... — Большой словно не мог уже
больше, так его рассмешил этот глупый чело-
век... — Пш-ш-ш... Вш-ш-ш... — выпустил он воз-
дух, как пар из паровоза. — Ишаки?.. — Ох-гу!
Ух-го! — ухал он. — А у вас... — его душило, пере-
хватывало дыхание. — А у вас текстильный комби-
нат есть?
- А у вас такси есть?
- У нас?? Хо-хо-хо...
- Кишлак — твоя Фергана...
- А твой Ленинабад... твой Ленинабад...
твой... — Большой так и не мог сказать. Его выво-
рачивало, его разрывало, с ним могло быть плохо.
- Противоположный почти уже сдался. Он напа-
дал, он говорил, но он ничего не мог поделатъ
с противником: он не умел так великолепно сме-
яться... Наконец он выцарапал еще:
- У нас Сыр-Дарья, а у вас так... арык жал-
кий.
- Он говорит, арык... Уох-хох! Уох-хоу-хох! —
лаял большой. — Фьить-фьить! — свистнуло в

нем. — Он говорит, Сыр-Дарья... — У-а-ах... Буль-бульк! — булькнуло в нем. — Арык?

Тут нужен был магнитофон, чтобы записать пять минут самого искреннего, самого убежденного, самого заразительного и самого разнообразного смеха, на который был способен только этот великий человек.

Хохотал весь тамбур.

И действительно, что лучше, Ленинабад или Фергана?..

БОЕКОМПЛЕКТ

Последнее время я все думаю об одном: очень мало может вместить в себя один человек. Чтобы по-настоящему, глубоко и вечно. Что дано человеку в боекомплект всего по одному:

одна страна,
один язык,
один город,
одно дело,
один любимый человек.

Можно жить повсюду, и изучать языки, и братья за многие и разные дела, и знать много людей... Но всегда, через всю жизнь проходит что-то одно, а остальное — второстепенное. Наверно, бывает, приходит и другое. Но тогда уходит первое. Вместе не бывает.

Очень редко дается человеку увидеть родину. Почувствовать ее рядом. К ней ведь мы тоже привлекаем и не замечаем. А она ведь всегда рядом, эта одна, единственная страна.

ГДЕ РОДИНА?

Я тоскую по родным местам. Я — русский. Но вот в смысле природы я тоскую по Карелии. Детство... Родные имена: Вуокса, Метсала, Линтула, Сайя-йоки, — чужой язык. А самой России — средней полосы — я не знаю вовсе. Пока не успел. Но от этого я не менее русский. А вот в Средней Азии есть русские, мои сверстники, они снега не видели, травы, озер, леса, грибов, ягод не видели... И они тоже русские и никакие другие. Совсем русские...

Когда я ехал в Азию, я стремился туда, и за окном вагона, от станции до станции, все явственней проступали приметы Азии. А когда ехал обратно, проступали приметы России. И Россия началась много раньше Оренбурга. Так мне хотелось.

И вот я думаю:

а если бы долго плутал по всему свету, а потом возвращался домой, — может, Россия началась бы в Кушке?

а если бы вернулся с Марса и приземлился в Африке...

Где кончаются и где начинаются родные места?

СЛОВО ПРОТИВ ТУРИЗМА

Ничего не имею против туризма — спорта. Спорт есть спорт. К тому же это трудно. А раз трудно, значит, человек соединяется с природой. Объединяется с ней.

Но вот меня всегда удивляло, как это можно приехать осматривать что-либо. В три дня турист опрыгает все театры, музеи, достопримечательности — обскочит столько, сколько ты, старожил, не видел за всю свою жизнь здесь. Но разве станет турист ленинградцем или москвичом оттого, что успел все? Разве он сможет понять Ленинград, как ленинградец, и Москву, как москвич? По-моему, они не видят ровным счетом ничего. Вернее, все туристы видят одно и то же, будь это Америка или Африка, Париж или Рим, — видят захватанные миллионами посторонних глаз случайные вещи.

А чтобы что-нибудь увидеть, надо жить в каждом новом месте жизнью тех, кто там живет. Лучше всего — работать. Сразу включиться в режим жизни обыкновенных людей. И даже если у вас в распоряжении три дня, и то их можно прожить со всеми. Главное, не спешить все увидеть. Раньше, чем вам будет положено, вы все равно ничего не увидите.

Я не говорю: не надо ездить. Не говорю: сидите на месте. Всем известно — путешествие расширяет кругозор. Это верно. Но заключается это расширение в том, что шире видишь родину.

Смысл путешествия в том, что вернешься домой — и насколько богаче.

Люди путешествуют и возвращаются.

ВОЗВРАЩАЮСЬ ДОМОЙ

I

Вот и кончились четыре месяца.

Я привык к природе, климату, людям. Мне уже не скучно. И я подумал: а не остаться ли мне еще на месяц? И уже совсем было склонился к этому. Даже написал об этом домой. Но вот подошел срок: я могу уехать, но могу и остаться. И вдруг пропадает всякая ко всему охота — скорей бы домой!

II

Странно, особенно трудно расставаться с теми, с кем чаще всего собачился и ссорился за эти четыре месяца, кто долго не принимал тебя всерьез, долго не открывался тебе. И им грустнее всех расставаться с тобой.

— Привыкли мы к тебе... Жалко, что уезжаешь.

Это сказал Саня. Мы долго были с ним не в ладах. Даже дрались.

— До свидания! Пиши! Приезжай снова...

Машина трогается. Я стою в кузове и машу рукой. Впереди та же дорога, изученная по субботам и понедельникам.

В последний раз увижу двух лошадей и поле люцерны...

До свидания.

А с теми, с кем с самого начала установились ровные, ласковые, в чем-то равнодушные отношения, с теми расстаться было не так трудно.

Мало я тут пробыл, и уже многое хотел бы захватить с собой...

III

Интересно, что я везу с собой? В буквальном смысле: чем набит мой рюкзак... Оказывается, все, что я приобрел здесь, можно было купить и в Ленинграде. Просто здесь это напоминало о нем, о доме. И постепенно этим набился рюкзак. В основном это книги.

IV

Все-таки я не так уж спешил домой. Я сделал лишнюю пересадку, чтобы посмотреть Ташкент. Рассчитывал пробыть там три дня.

Я знал, что в Ташкент приехал один мой хоро-

ший ленинградский знакомый. Но я не собирался идти к нему. Потому что и так мало времени, а надо все осмотреть, потому что он все равно через месяц вернется в Ленинград и я его там увижу, и, наконец, потому, что мне не к чему расспрашивать его о Ленинграде, раз я сам в нем буду меньше, чем через неделю.

Ташкент... прекрасный город! Но вдруг мне стало нестерпимо скучно быть в нем чужим, глазеть и ничего не делать. Пусто как-то.

И я пришел к своему знакомому, и мы целый день, не вылезая, проговорили о Ленинграде, о знакомых, о себе. А вечером я уехал из Ташкента, не пробыв в нем и суток.

V

Едешь, едешь, едешь, едешь. И вдруг проснешься. Была ночь — стало утро. Посмотришь в окно. Речка, луг, роща, проселок. Столбы, столбы. Опять речка, роща... Избы. Луг. Дорога по лугу. Перековыляют дорогу гуси. И какой-то город, Ряжск или Мшанск...

Другое дело.

А на станциях нет людей в халатах и нету фруктов. Слава богу, нету фруктов! Бабы в платочках выносят на перрон горячую картошку, соленые грибы, соленые огурцы, морошку, чернику...

Как хорошо!

Едешь, едешь, едешь, едешь. И вдруг проснешься:

— Ленинград.

ЭПИЛОГ

Вернувшись из путешествия, он впал в глубокую тоску по бескрайним просторам своих пустынь. Жизнь в имении была ему постыла. Он уходил с ружьем на целый день в лес, чтобы как можно больше устать и вернуться прямо ко сну. Тюфяк, на котором спал, он набил хвостами яков.

Из книги о Пржевальском

Странно сознавать себя одновременно домоседом и бродягой. Когда я уезжаю, мне кажется, я прирожденный домосед и зря все это затеял. Разлука приводит к переоценке ценностей. Все дороже становится то, что оставил. Вернее, не переоценка, а возвращение ценности. Только бы вернуться... Теперь-то я все понял и оценил. И знаю, что мне всего дороже и что мне нужно.

И вот я дома.

И уже совсем не понимаю, для чего меня тянет из дому... Для того ли, чтобы увидеть что-то новое, или для того, чтобы еще раз расстаться со всем родным, чтобы оценить его еще раз и полюбить еще больше?

Я уезжал из дому и все оставлял дома. И не мог забыть то, что оставил. И стремился домой.

А теперь что-то оставил там, в Азии...

Это, конечно, наивно и глупо, но вчера произошел такой случай: я захотел зеленого чая.

— Есть у вас зеленый чай? — спросил я в магазине, в полной уверенности, что его не может быть.

Оказалось — есть.

Вот и все. Я пью дома зеленый чай. Удивляю родственников: как можно пить такую гадость?..

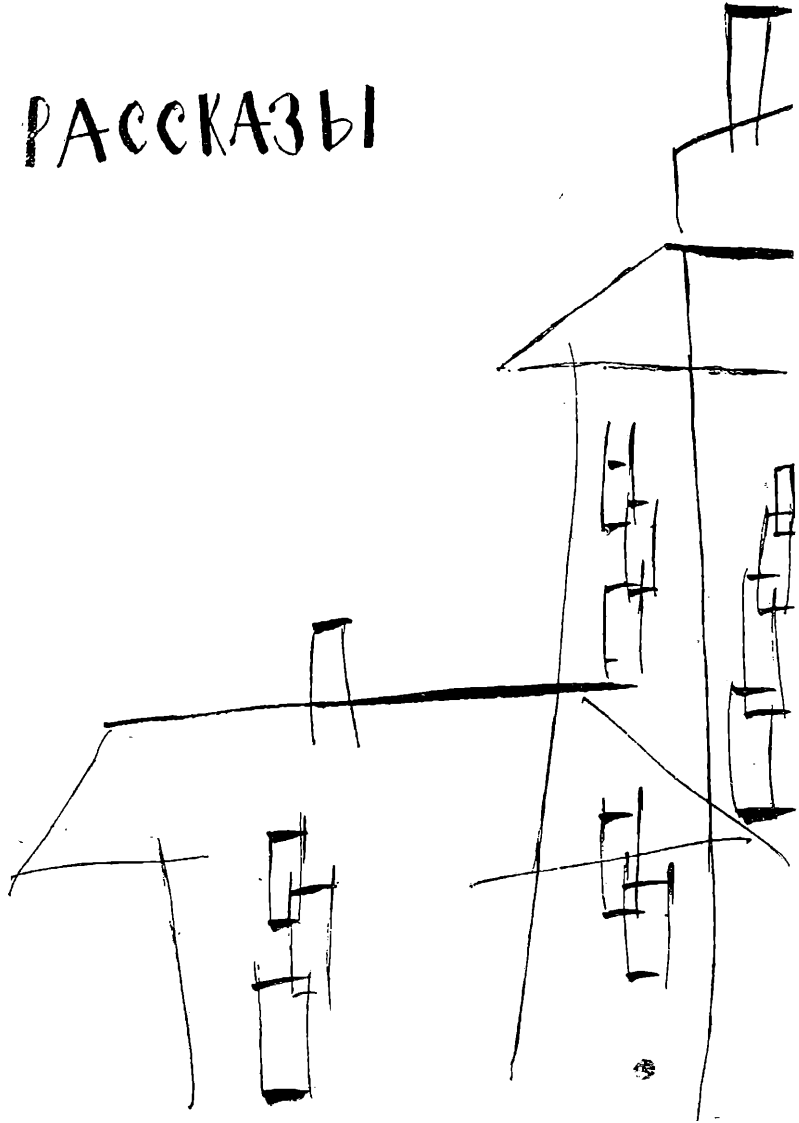
— Чудаки, — говорю я, — вы просто не понимаете, насколько он незаменим в жару. Только им и можно напиться!

— Какая же тут жара... — говорят они.

Вот и все.

Октябрь — ноябрь, 1960

РАССКАЗЫ





БАБУШКИНА ПАДА

Я в комнате сидел под вечер
без огня

И вдруг гляжу:
Выходят из стёны
Отец и мать,
На палки опираясь.

Такубокү

В нашем доме ремонт. Надстраивают этаж и меняют трубы. То, что мы станем выше, не ощущается на третьем этаже. То, что меняются трубы, ощущается очень. Каждый день не хватает какой-нибудь воды: в ванной, уборной, на кухне... Мы

бродим по квартире в ватниках и шапках-ушанках и ругаем домконтору, прораба. Благодаря дыркам в полу и потолке мы знаем, что делается и варится этажом ниже и этажом выше. Внизу — кто-то очень упорный разучивает гаммы и пассажи, а наверху — кто-то очень веселый играет по очереди две пластинки и танцует. На уровне наших окон разгуливают по лесам жизнерадостные девушки, заглядывают в окна, пачкают их известкой, а иногда, по неосторожности, выбивают. На паркете растоптана штукатурка, а на телевизоре слой кровавой кирпичной пыли. Днем по квартире расхаживают чужие люди, и от этого окончательно неуютно.

Нас лишили привычных за долгие годы, незаметных удобств, и мы сразу очень устали. Теперь, когда мы возвращаемся домой, с нами остаются все дневные неприятности. А раньше неприятности уходили до следующего дня. Нас лишили отдыха, и все почувствовали, как они, однако, устали.

Но, пожалуй, больше всех страдает от ремонта мой отец. Он сам когда-то белил, оклеивал, красил эти комнаты — с любовью и вкусом. И когда он видит халтуру, в нем возмущается профессионал. Каждый день он возится, стараясь вылечить изуродованные комнаты: замазывает дырки, подклеивает обои.

Сегодня нам поставили новые трубы — кривые и ржавые.

И отец красит эти трубы.

Моему брату решили подарить бабушкин зеркальный шкаф. Брат переселился в Москву, у него есть жена и нет мебели. А шкаф дубовый, и в него многое можно спрятать. И вот сегодня, через три года, шкаф открыли, чтобы освободить его. Его не открывали так долго потому, что в нем лежали бессмысленные мертвые вещи и напоминали о живом человеке. А этот живой человек — умер. Вещицы были старые и ненужные. Бабушке они напоминали других живых людей, а нам они напоминали бабушку.

В шкафу были чашки, стопочки, серебряные ложки, картонка из-под юбилейного торта с недогоревшими свечами, коробки от конфет... Все это было бесполезно и человечно, как память. И на всем этом лежал толстый слой пыли. Вымыли — посуда стала свежей и блестящей. Она была выставлена в кухне на круглом столе, и каждому напоминала свое. Было приятно и грустно. И каждый взял на память то, что помнил.

Я взял пиалу, настоящую узбекскую пиалу, которую бабушка привезла из Ташкента...

...Мне было пять. Через всю взбаламученную войной страну мы пробирались к бабушке в Ташкент. Мы уходили от блокады. Добирались мы долго и трудно, и мало что удержалось в непонимавшей детской памяти...

В теплушке на меня свалилась стремянка с грузным пассажиром. Это было больно. Выбежав выменивать хлеб, от поезда отстала мама. Это было

страшно. Я завшивел. Это было противно. Нечего было есть. Это был голод...

А потом нас окружили черномазые, оборванные мальчишки и предлагали поднести и подвезти. Они были стремительны и шумны и двигались с неправдоподобной легкостью. И я их боялся. А мама им не верила. И мы пошли сами, волоча пожитки, потерявшие смысл и форму. Вертлявые мальчишки постепенно отстали. Мы оказались одни. Мы не знали, куда идти, а прохожие нехорошо на нас смотрели и не объясняли дороги.

А все кругом было другое: горячее солнечное небо, глиняные заборы с жирными тенями, неразрушенные чистенькие домики, сады... И тишина. Непривычная тишина пустых глиняных улочек.

Мы брели, не понимая куда. Собственно, не понимала мама, а я тащился за ней. Мы брели, никого не спрашивая. Мы были у цели, и мама увидела, что у нее уже давно нету сил. У нее не было сил, и она удивлялась, что мы — у цели.

И мы брели...

И вдруг, завернув за толстый глиняный угол, мы столкнулись с бабушкой. Мама издала что-то нечленораздельное, а я не узнал бабушку... Тут меня обняла какая-то ласковая, теплая волна и увлекла. А я подчинился, и уже не заметил, как мы пришли. Но это уже было сказкой...

Туда вела калитка, за которой был сад. Блестящими кровавыми каплями капали черешни. Бетонный арык уползал вглубь. На крыльце голая толстая женщина рубила топором черепаху. Длинная, сухая бородавчатая старуха подозрительно коси-

лась на нас и держалась за козу. Они были очень похожи, коза и старуха...

Но та же ласковая и теплая волна снова подхватила меня, и я очутился в бабушкиной комнате. Там было прохладно. Чистая, высокая кровать выросла перед моим носом. Сквозь забавные соломенные штуки прыскало тоненькими струйками солнце и испещрило чистый, натертый пол. И во всем этом царила, ласкала, смеялась бабушка. Но самое главное был стол. Он прочно наступил на пол толстыми дубовыми ногами. На нем была белая тяжелая скатерть и какие-то холмики (что-то покрытое салфетками). А на виду стояла ваза с непонятными фруктами. А еще выше, на фруктах, стоял золотой стаканчик, и из него выглядывал кусочками сахар. Настоящий белый сахар.

Я стоял, ухватившись за скатерть, и смотрел вверх. И опять что-то неуловимое, подчиняющее, теплое рассыпалось рядом со мной. Это смеялась бабушка. Она поцеловала меня в сосредоточенно заломленную голову и снова увлекла, а я забылся, подчинившись этой волне, и очнулся за столом, вымытый и переодетый. Я ел что-то очень вкусное и смотрел на сахар... Опять бабушка засмеялась — и я уже пил чай вприкуску. Я брал своими руками фантастически белый сахар и пил чай из невиданной чашки. Она была без ручки, и я не мог найти, где эта ручка отломалась. А бабушка объяснила, что чашка такая и была, что это настоящая узбекская пиала.

Я пил чай из пиалы. Вокруг нее, крадучись, ходили парами странные ежики. У них были красные

животы и зеленые спины, и ходили они на задних лапах.

А потом я уснул — и увидел, что всюду лежит ослепительно белый сахар. Вокруг меня, как часовые, степенными, вкрадчивыми шагами ходят парами ежики, а бабушка смотрит со всех сторон, и отовсюду слышится ее теплый осыпавшийся смех...

Я стою и верчу в руках пиалу. Она точно такая же. Я хорошо помню эту почерневшую трещину. Но вокруг пиалы не ходят парами ежики — просто это какой-то азиатский цветок или плод, свисающий на стебле с края чашки. Непонятный и довольно безвкусно нарисованный.

Я иду к дядьке и долго роюсь в энциклопедиях и атласах. Я знаю теперь, как эта штука называется по-латыни и как она растет.

Отец красит трубы в моей комнате. Мама кончила разбирать шкаф и шьет. Я думаю о том, что уже вечер и все вернулись с работы. Я начинаю слоняться по комнатам, передвигать слонов на телевизоре, раскрывать и закрывать книжки и даже рассматриваю газету. Наконец я надеваю пальто, прикрываюсь шляпой и безразлично сообщаю:

— Я пошел за сигаретами.

— Только не возвращайся слишком поздно, — говорит над шитьем мама.

— Будь осторожен, — говорит отец. — На лестнице нет света, а двор разворочен. Ты надел шарф?

Я выхожу на улицу. Закуриваю сигарету и прихожу к моей девушке. Она такая же ласковая и спокойная, как вчера. Я выкладываю все, что накопело за день. А она слушает. И я успокаиваюсь.

А потом мы молчим. А потом снова разговариваем, уже вдвоем. Разговор чего-то касается и нигде не застревает. И я его сразу же не помню.

Потом я говорю, что мне пора, и остаюсь еще на час...

Я иду по дождливой лоснящейся улице, и мне навстречу плывут желтые пятна фонарей. Пусто и поздно. И через десять минут я подхожу к моему дому. У подъезда мокро поблескивает «москвич», и вдоль него красные буквы — неотложка... На баранке спит шофер, и мне почему-то кажется, что это — к нам.

Я спешу, спотыкаюсь на лестнице и долго вожусь с замком. В передней пахнет аптекой. Меня встречает дядька. У него сосредоточенный и прилежный вид.

— Когда это с ним? — спрашиваю я.

— С полчаса, наверное.

Я выбираюсь из пальто, как можно тише вхожу к себе в комнату и слышу из соседней слабый голос отца:

— Это ты, Алеша?

Я виновато появляюсь в дверях и не знаю, что делать, что говорить.

— Вот видишь... — говорит незнакомым голосом отец.

Я вижу отца.

Белый халат порхает вокруг него. В пепельнице лежат ватки и пустые ампулы. На ручке кресла повисла опустошенная кислородная подушка.

Я стою в дверях и ничего не могу поделаться со своим лицом.

— Ничего, Алеша... — слышу я словно издалека.

У врачихи бодрое и спокойное лицо: она делает дело. И она оканчивает его.

— Будет плохо — позвоните, — говорит она и поспешно уходит.

У нее был обыкновенный, обычный голос. И у дядьки в передней был все-таки обычный голос. А у отца... Кажется, это не его голос, такой слабый:

— Как это некстати... Как раз надо шкаф в Москву отправлять, — слышу я из вспухшей подушками кровати.

В этих подушках лежит мой отец. Какой он небритый... Утром он не казался мне таким небритым.

— Впрочем, это всегда некстати... — добавляет он и силится улыбнуться. Это трудно видеть.

Отец лежит ужасно неподвижно. И говорит неподвижно. Перед глазами у него — труба. Это ее он раскрашивал сегодня в два цвета: под цвет обоев и под цвет потолка... И теперь змейки белой краски наползают на красную.

Перед глазами отца — труба. Он открывает глаза:

— Краска натекла. Сотри, пожалуйста.

Он красил эту трубу, и это было последнее, что он делал.

Я вскарабкиваюсь на шкаф и вытираю краску.
— Главное, чтоб насухо, — слышу я снизу, и кажется: из ужасной глубины.

Я стою рядом с кроватью. Я стою рядом с отцом.

— Алеша!

— Да.

— Вытри кисточку... А то я не успел... Нет, не этой тряпкой.

Я вытираю кисточку другой тряпкой.

— Краски заверни и снеси на кухню.

Я успеваю дойти до двери:

— Ты все отнес?

— Да. — Я ставлю банки на пол.

— А хорошо завернул?

— Да.

— Поправь мне подушки...

Перед глазами отца — труба:

— Снова натекло. Вытри еще...

Я снова лезу на шкаф.

— Теперь попей чаю. Ты, наверно, голоден.

Я не хочу чаю, и я молчу.

— Ты слышал... Ты обязательно должен попить чаю.

Я наливаю чай в пиалу.

Октябрь, 1958

ФИГ

Он посмотрел на карандаш: отлично получилось! — и взял следующий. Медленными, тщательными движениями начал очинять. Рыжая голова склонилась набок. Медленные, ровные, отваливались стружки, загибались полумесяцем. Если стружку пожевать — такой свежий вкус...

«Заодно очиню и цветные...»

Зеленый. И красный. И синий. Аккуратно собрал стружки в горсть и вышел в мамину комнату.



- Алеша, ты что делаешь? — сказала мама.
- Занимаюсь, — сказал Алеша.
- А это что? — ткнула она в Алешин кулак.
- Не могу же я чертить огрызками!
- Вчера ты тоже точил карандаши...

Алеша ссыпал стружки в пепельницу. Подумал и забрал пепельницу.

- Зачем тебе пепельница?
- Вытряхну...
- Тебе что — делать нечего?

— Я насорил — я и убрать должен, — твердым голосом сказал Алеша.

Вышел в переднюю. В передней был стол и лежали газеты.

Полистал.

Шел по коридору. Висели пальто. Висел телефон. Алеша поставил пепельницу на телефонный столик и полез в карман — один, другой, третий: пуговица, гривенник, трамвайный билет... Письмо. Это Люськино пальто...

«Милая Люся, — прочел он, — извини, что...»

— Ну, погоди, «милая Люся»! — пропел Алеша. — Сегодня моя очередь.

Когда коридор кончился, началась кухня, в которой никого не было. Кошка стрелой шарахнулась от Алеша.

— Дура, — сказал Алеша, — я, может, тебя погладить хотел...

Он попытался зайти с тыла — кошка вспорхнула на подоконник, с подоконника — на холодильник, с холодильника — на буфет. Алеша не спеша взял мокрую тряпку и влез на стул, тоже не спеша.

Кошка, поджав хвост, прижалась к стене и зашипела.

— Шипишь? — сказал Алеша. — А я, может, пыль хотел вытереть... — Он прицелился, размахнулся... В кошку он не попал, но от буфета с легким треском отскочила одна из шишечек. Кошка описала дугу и заметалась по кухне. Алеша не спеша слез со стула, внутренне клопоча: уж эта мне шишечка! «Нервный ребенок...» — говаривала мама...

Кошка забилась под буфет. Из-под него раздавалось громкое урчание. Такой ничтожный зверь — и так рычит, подумал Алеша. Он стукнул по буфету, и урчание еще усилилось.

— Вот ведь гадкое животное, — сказал Алеша. От буфета шел ровный гуд. — Порычи мне еще, порычи!

Алеша вздохнул и понес пепельницу к мусоропроводу. Открыл, приложил ухо — в трубе тоже что-то ровно гудело.

— Ученье — свет, а неученье — тьма, — пожаловался он в трубу.

Труба что-то пророкотала в ответ. Оттуда пахло мокрой пепельницей. Алеша запустил в трубу руку и высыпал стружки — прошуршали. Очень хотелось опустить туда и пепельницу. Подобрал шишечку, и она пробрякала в трубе.

— Спустить бы туда кошку, — отвлеченно подумал Алеша. — Вот была бы симфония!

Вздохнул.

— Воды выпить, что ли?

Налил из-под крана. Отхлебнул, отхлебнул. Вылил в раковину.

Обратно он прошел быстро, не глядя на гудевший буфет, трубу, вешалку.

— Где ты был?! — сказала мама.

Алеша прошел в свою комнату. Сел. Перед ним раскинулся белый лист бумаги. А карандаши торчали из стакана острыми концами, и других карандашей не было. Взгляд упал на бритву. Алеша воткнул ее в край стола. Отвел — дзиль! — пропела она. Воткнул ее поглубже — дзень! — пропела она. «Ре», — подумал Алеша. Вытряхнул все свои бритвы. После долгих усилий — дзонь! дзень! дзиль! дзаны! — пропели бритвы, — до, ре, ми, фа, — пропели они. Соль никак не давалась.

А мама сказала:

— Ты играл сегодня на рояле?

— У меня очень много уроков, мама, — сказал Алеша и порезал палец.

Он сидел и сосал палец и смотрел на лист бумаги.

— Алеша, — донеслось из маминой комнаты, — я сейчас схожу ненадолго, а ты сиди и занимайся. Просто стыд, как мне приходится краснеть за тебя на собраниях. И это внук Скропышева! — добавила она со скорбью. — Поиграй на рояле. Покушай — я оставила на кухне. Я пошла.

Алеша стоял в маминой комнате около большого зеркала, и в руке у него была большая рюмка с молоком. Он отставил руку с рюмкой и смотрел на себя, оставившего руку с рюмкой. Потом он слегка пригубил и почмокал губами, и покачал головой, и смотрел на себя, как он пригубил, по-

чмокал и покачал. Потом он сделал несколько общих поклонов, еще дальше отставил руку с рюмкой, посмотрел, как это все у него получилось, и откашлялся. Помолчал. Откашлялся.

— Нет, — сказал он, — слишком белое...

Он поставил рюмку на столик. И стал ходить, заложив руки за спину, как делал когда-то дедушка. «Не мешай дедушке — он думает», — говорила тогда мама. Алеша ходил мимо зеркала — и мимо зеркала и, проходя мимо, поворачивал голову налево, направо.

О чем бы подумать, подумал Алеша.

Вспоминалась только мама, учителя и уроки...

— О чем бы подумать... — сказал Алеша вслух.

Послышалось хлопанье двери. В два прыжка он очутился около белого листа, а рюмка встала под столом.

— Что же ты ничего не кушал? — сказала мама.

— Занимался.

Алеша сидел на кухне и вяло жевал сырники. Было невкусно, но он растягивал время.

Хлопнула дверь. Раздались шаги, не шаги — а топот, и жирный голос пропел: «Журавли, журавли, не тревожьте солдат...» И отрывисто просмеялся тот же голос.

Дядька! — обрадовался Алеша.

— Писатель!.. — раздраженно буркнула мама.

Дядька приоткрыл дверь в кухню, повел носом и сказал:

— Здесь чем-то воняет...

Мама сказала:

— Вечно ты говоришь гадости при ребенке!

— Красивая ты баба, да дура! — сказал дядька, и его шаги удалились по коридору.

Мама ворчала у буфета.

Дядька был писатель и писал книжку о дедушке. Он говорил, что дедка не оставил ему никакого другого наследства.

Алеша быстренько проглотил сырник и выскользнул в коридор...

— А, это ты, фиг! — пробасил дядька. Он, стоя, втыкал палец в пишущую машинку. — Что же ты молчишь? — Дядька оттягивал подтяжку и щелкал себя по налитому пузу. — Разве ты не фиг?

— Нет, — сказал Алеша.

— Нет, ты — фиг, — дядька выпустил облачко коньячного духа. — А кто же еще?

— Я — человек, — сказал Алеша. Разговор с дядькой доставлял ему удовольствие.

— Ах, да! Извини, извини... Впрочем, это еще не значит, что ты не фиг. — Дядька снял с губы окурок и приклеил его к краю стола. Там уже был изрядный бордюрик.

— А тебе не кажется, что тут как-то воняет?

— Нет.

— Странно, странно... — сказал дядька. — Ну, зачем пожаловал? Заниматься лень? Ай-яй! Стыдно, стыдно... Впрочем, я тебе не буду рассказывать, как я был первым учеником... Ей-ей, не буду! Коньяку я тебе тоже не дам.

— Тогда дай чего-нибудь почитать.

— Что же тебе дать почитать? Про корабли ты уже все прочел...

— Ну, хотя бы что-нибудь свое.

— Вот что, Алеша, — я тебя уважаю, но ты — фиг! Давай раз и навсегда договоримся: больше ты мне таких гадостей говорить не будешь.

— Ладно, — согласился Алеша. — Тогда дай «Декамерона»

— «Декамерон»... — мечтательно произнес дядька. — Далекая юность... Не дам.

— Почему? — протянул Алеша.

— Не дам — и не проси.

— У нас в классе многие уже читали, — сообщил Алеша.

— Да? Это, пожалуй, меняет дело. Нельзя отставать... Не дам.

— Ну, дядя...

— А она тебе позволила?

— Да что ты, дядя... Смешно даже.

— Все-таки здесь воняет... — потянул носом дядька. — Значит, не позволила?

— Ни-и-и! Не позволит, — убежденно сказал Алеша.

— Не позволит, значит... А ты ее спрашивал?

— Ну что ты, дядя! Ты же ее знаешь не хуже меня...

— Гм-м, не хуже тебя... Это как сказать. Так, значит, не позволит.

— Нет, — категорически отрезал Алеша.

— Ну, тогда бери. Бери, рыжий фиг, и проваливай. Мне еще трудную главу о твоём дедке написать надо — как он воспринял революцию... Трудная глава. Да и за тобой сейчас сюда прилетят...

...Алеша сидел перед чистым листом бумаги, а в выдвижном ящичке расположился «Декамерон». Скучная книжка, думал Алеша. Развлекало его только то, что приходилось следить, как бы не застала мама. Уже несколько раз ему казалось, что мама направляется к нему, и он с треском запахивал ящик и начинал сосредоточенно вертеть карандаш. Сердце стучало. Мама не подходила. Когда он еще раз захлопнул ящик:

— Что ты там грохочешь? — сказала из соседней комнаты мама.

— Учебник уронил...

В конце концов мама подошла как-то так беззвучно, что Алеша не только не успел захлопнуть ящик, но и проснуться. Алеша вздернул голову и обвел бессмысленными глазами. На раскрытой книге расположилась лужица сладкой, дремотной слюны.

— Ах, вот как! — только и сумела сказать мама, схватила книгу и помчалась к дядьке выяснять отношения.

— Тьфу ты! — простонал Алеша. — Куда деться...

Они столкнулись в подворотне.

— Фиг!.. — удивился дядька. — Ты куда?

— Так... — сказал Алеша.

— Ах, так... Ну, проводи меня тогда до угла.

Дошли до угла. Отсюда начинался Портовый проспект. Постояли.

— Ну, что, пойдем смотреть пароходы? — сказал дядька.

Октябрь, 1959



СОЛНЦЕ

Четыре золотых прямоугольника протянулись от окна к кровати...

Солнце.

На голубом экране окна появился серый воробей и восторженно завертел головой. Высокая фабричная труба — постоянная декорация — была веселого кирпичного цвета. Раздался гудок (с детства все кажется, что это из трубы).

Воробей улетел. Гудела труба.

Витя Тамойкин сел на кровати. При этом тело

его описало дугу, а ноги опустились аккуратно в золотой прямоугольник. Пальцы пошевелились и оставили темные черточки на пыльном полу. Туфли разбрелись за ночь: одна хотела скрыться под шкафом, но не успела, другая — забралась-таки под батарею. Босые следы разошлись от кровати в разные углы комнаты и настигли туфли.

Утро было как утро: ушел кофе, оторвалась вешалка, кошка спала на чертежах... И нужно было бежать.

И Витя Тамойкин выбежал.

Воздух прыгал вокруг, теплый и ласковый. В подворотне расплылась большая лужа. Около ремонтируемого дома, усевшись в ряд на бревне, как воробы на ветке, грелись на солнышке рабочие. Они разглядывали студенток, спешивших мимо. Лебедка стояла. Доска, которую поднимали и не подняли, висела где-то на полпути и смотрела на все сверху. Витя не стал придавать этому значения: он едет в институт и должен успеть сделать тыщу вещей — поджимают сроки.

Он шел и разбивал день по часам и пунктам дел. А на углу стояло три человека, задрав головы. И Витя задрал.

Балкон.

По балкону ползли широкие трещины, весь он был в плешинах отвалившейся штукатурки. Солнце слепило глаза. Рабочий черной тенью стоял на балконе и методично стучал по балкону здоровенной кувалдой. Балкон потрескивал, от него отрывались большие шматки штукатурки и шлепались на асфальт, рассыпаясь в пыль. Было очень приятно

стоять так оцепенело, глазеть и ждать, когда, наконец, балкон не выдержит и что станет делать тогда рабочий... Но балкон выдерживал, а дела столпились в бесформенную кучу, толкались, не давали покою. И Витя все-таки осилил угол и направился дальше, к институту.

Пройдя два квартала, он увидел новую группу. Эти смотрели под ноги. Создавалась переходная дорожка для пешеходов. Люди, из пешеходов, стояли и смотрели на то, как она создавалась. Рабочие ползали на коленях и заколачивали широкие блестящие кнопки. Пронзительно шипела горелка и лизала асфальт побледневшим от солнца языком. В каждой новой кнопке загоралось новое солнце.

Рядом с Витей стоял молодой человек с коляской. Попросил спички — закурил.

— Какая хорошая погода, — сказал он, глядя на свежую, сверкающую кнопку.

— Да, — сказал Витя, глядя на ту же кнопку, — отличная.

— Хорошо, что у меня сегодня выходной, — переполз он взглядом к следующей кнопке.

— Да, — сказал Витя, также переползая, — это хорошо.

— Я тоже рабочий, — сказал он.

Витя потянулся дальше.

Сел в автобус. Сухой солнечный асфальт намазывался на колеса. Витя снова построил дела в затылок друг другу. Как кнопки.

В автобус вошла девушка. Она не имела никакого отношения к делу. Обыкновенная девушка. Довольно приятная. Витя заглянул ей в глаза, и

это несколько нарушило очередность пунктов. Девушка была чему-то очень рада и села сзади. Витя стал снова располагать свои дела. Они прыгали. Спinoй он все время чувствовал девушку. Он давно не был в парикмахерской — сзади у него отросла изрядная косичка и уродливо топорщилась над шарфом. А это было уж вовсе лишнее! Он проделал некоторое движение головой, заложил косичку за шарф и втянул голову в плечи. И еще больше смутился оттого, что маневр мог быть замечен. Он сосредоточенно смотрел в окно и чувствовал совершенно определенно, как девушка посмеивается ему в спину...

Как будто заинтересовавшись встречным автобусом, Витя безразлично повернул голову ему вслед... По-видимому, девушка смотрела Вите в затылок, потому что, когда он повернулся, то столкнулся с ее взглядом. Она посмотрела на Витю, а он вспомнил про косичку, снова вобрал голову в плечи и потерялся: как она на него посмотрела?.. Так и сидел, будто его вот-вот пристукнут чем-нибудь сверху, и ничего не воспринимал, кроме девушки сзади.

Вот она смотрит в окно: на переходе застыла интересно одетая женщина. Вот она смотрит ему в затылок: такой смешной парень!.. Вот роется в сумочке: ищет зеркальце... или адрес в записной книжке? Мысль о записной книжке Вите неприятна.

И вдруг он услышал, что девушка встала. Теперь-то он разглядит ее всю! Она направилась к двери и обернулась и взвесила его долгим взгля-

дом. Пожалуй, плохо такой взгляд не истолкуешь... Витя рванулся и застучал за ней по ступенькам.

...Но в конце концов оказалось, что он остался сидеть на месте, не стронувшись ни на иоту. Стучало сердце.

Автобус отбежал от девушки. Витя тупо смотрел в окно. Там было солнце. Оно билось в стекло, как большая, теплая птица. Пульсировало, как сердце...

Солнце.

Совсем уже около института между двумя барьерчиками шлепался снег. Из подворотни вышла молодая женщина с махонькой девчонкой и чуть не угодила под глыбу. Женщина отпрянула с перепуганным, побледневшим лицом, прижимая дочку. А дворничиха, неестественных форм, похожая на большую ватную игрушку, соответственно кричала:

— Тоже мне мать!.. Нарожали и ладно... Вот стубила бы ребенка...

Она прокричала в небо. Лопаты перестали высываться из-за края крыши. Проскочила женщина, прижав дочку к животу. Снова замелькали лопаты.

От них отрывались, замирали на мгновение, а потом, медленно набирая скорость и увеличиваясь, летели слоеные серые глыбы. Глухим и сильным ударом рассыпались они по асфальту.

Когда Витя опомнился, лекция уже давно началась.

Дела... вспомнил Витя.

Он посмотрел еще немного на срывающийся с крыши снег. Над крышей было небо, солнечное и синее.

Да что это за дела... подумал он.

Витя повернулся и пошел в другую сторону. Вышел на проспект и направился к заливу. Солнце было проткнуто острием уходившего вдаль проспекта. Солнце было впереди и в то же время со всех сторон. Полупрозрачные глыбы домов плавали, парили в воздухе.

Март, 1959



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

М. Л. Слонимскому

Уходила последняя электричка. Желтоватая от слабой лампочки платформа была безлюдна. А вокруг — темень. Темнота была как-то особенно густа — и не черная, и не синяя. Два красных глаза выделялись на темной спине электрички.

Он бежал из последних сил, задыхаясь и пыхтя. Вокруг тряслась темнота, а впереди прыгали тусклая желтоватая платформа и два красных глаза. Он бросил спорт и давно не бегал, и ему было трудно.

Протяжно прогудела электричка.

Он трусил тяжело и быстро, подпрыгивал в темноте, и каждый раз нога словно ступала в пустоту и вдруг стучалась о землю.

А в голове все крутилось: нелепо, нелепо... Как это нелепо!

И как это он подумал, что она имеет что-то в виду кроме английского языка...

Он бежал, и уже не было сил, но суетные и ничтожные картинки мелькали перед ним и подгоняли.

Конечно же, она все знала с самого начала... И когда он наконец говорил: «Видите ли...» — она вдруг вставала с дивана: «Вот вам пепельница». Или, только он снова собирался, она, серьезно глядя в глаза, прерывала: «Ничего, что я так сижу?»

И потом эта мама, которая открывала дверь: «Не хотите ли чаю? Как идут занятия?»

Тьфу, как глупо! Вел себя как последний идиот... И они всё поняли...

Красные глаза пододвинулись вплотную. Электричка прогудела еще раз, грустно, жалуюсь.

«Вы понимаете...» — сказала она. «Спасибо, что помогли моей дочке», — сказала мама. «Ничего, мне пора», — сказал он. — Да обещал вот. Меня ждут». — «Но вы еще зайдете?» — сказала она, глядя нарочито чуткими глазами. «Заходите», — сказала мама...

Он рванулся, три раза грохнул тяжелыми, не своими ногами по лестнице и побежал по платформе. Шлепнул ладонью по задней стенке вагона, и электричка тронулась.

Нелепо... нелепо...

Он рванулся еще, обогнал вагон, нажал ручку — прыгнул. Нога, одеревеневшая, застыла на площадке, согнутая в колене. Вторая повисла в воздухе. Он с трудом выжался, втащил вторую ногу. Обессиленно откинулся на захлопнувшуюся дверь. Ноги были ватные и подрагивали. Он отер пот и с трудом ловил воздух. Сердце бухало в карман, а в голове стучала кровь.

Вот и все... подумал он.

Вагон был пуст. Только одна беленькая девушка сидела спиной, повернув голову в окно.

Свет мигнул и погас.

Стук колес, гудевший в набрякших ногах, и ночь за окнами, и девушка одна в вагоне... Все это как-то успокаивало.

Он ехал.

Все.

Он совсем отдышался. Согнул одну ногу в колене, вторую. Занимался же я когда-то спортом... подумал он. И не так уж давно.

Когда он подошел к девушке и сел напротив, та вздрогнула. Посмотрела на взлохмаченные волосы, съехавший галстук, на бледное, набрякшее, словно внезапно поросшее густой щетиной лицо, и глаза, блестящие, странные, все время ловившие ее, и, казалось, совершенно не интересующиеся ею, — посмотрела и сжалась.

Какая она еще девочка, подумал он. Совсем девчонка. Одевается приятно. Рядом с ней стояла сумка, чем-то набитая, а сверху торчала толстая книга.

Он смотрел в упор на девушку. Она уводила взгляд. За окном была ночь. Перестук колес становился все чаще и сливался. Не меньше семидесяти, подумал он. Эта последняя электричка прет почти без остановок.

Девушка сидела неподвижно, сжавшись, обнимала одной рукой сумку.

Они ехали уже минут десять. За это время электричка подъезжала к какой-то станции и останавливалась. Девушка выпрямилась, потрогала сумку, повернула напряженное лицо к желтевшей у окна платформе...

Электричка дрогнула и стала набирать скорость, а девушка так и не тронулась с места.

Какие они все похожие, эти платформы. Особенно ночью, подумал он. И снова стал смотреть на девушку.

Свет опять помигал и потух. Лицо девушки исчезло. Он машинально наклонился немного вперед. Глаза быстро привыкли к темноте, и он уже различал силуэт и, как ему казалось, черты. Они казались еще тоньше и чуть странными.

Они проехали мимо будки, и свет фонаря прогулялся по потолку, пробежал по их лицам, осветил ее прямую, натянутую фигуру и тревожные, испуганные глаза.

В горле у нее булькнуло.

— Как вас зовут? — внезапно сказала она.

Он встрепенулся, ему показалось неожиданным, что кто-то может говорить. И он вдруг осознал, что уже давно в упор смотрит на девушку и при этом не думает о ней. И вообще ни о чем не думает.

Бедная, подумал он, что, должно быть, творится в ее голове? Ночь, электричка на полном ходу и такой сумасшедший тип, как я...

— Генка, — сказал он. Почему-то он сказал именно «Генка».

— А сколько вам лет? — поспешно сказала она.

Он глуповато ухмыльнулся. Поправил галстук. Пригладил волосы.

— А сколько дадите?

— Двадцать семь.

— Ошиблись, двадцать три, — сказал он. И сам не понял, почему убавил два года.

— Вы выглядите старше, — сказала она.

— Да?

Она снова съежилась и стала быстро-быстро говорить о себе. Живет она с мамой. Учится на третьем курсе вечернего отделения. Изучает английский. Сначала училась на дневном, заболела. Вот теперь так устроилась. А на работе...

Генке показалось странным это совпадение. Опять английский... Но все было не так. И эта девушка совсем не такая. Проще. И красивая. Он и слушал и не слушал ее. Ее речь, сбивчивая, взволнованная, нравилась ему и умирляла. И ему очень захотелось, чтоб она перестала бояться его. И не выдумывала его страшным. И чтоб он так же, как она, рассказывал о себе. И они просто говорили бы друг другу очень много разных вещей. Не выбирая, не стараясь запомнить или удивить.

— А вы где работаете? — донеслось до него.

— Да как вам сказать... — Он удивился, как

звучит его голос в пустом вагоне, и обругал себя за чужой голос. — Монтером, — сказал он.

— Я не думала, что вы рабочий, — сказала де-вушка и снова начала рассказывать о заводе, о преподавателях, про то, какая у нее странная подруга.

— Он ее вызывает, а она говорит: «Я туго со-ображаю после работы», — представляете, так и сказала, так и ска...

Свет зажегся, и она осеклась.

— Правда? — сказал он. — А это у вас что за книга? — он показал на сумку.

— Англо-русский словарь...

Он протянул руку, и она достала словарь.

Генка задумчиво полистал.

— Как читается это слово? — спросил он, пере-саживаясь к ней.

— Raree, — сказала она дрогнувшим голосом.

— А это?

— Accident.

— У вас, должно быть, хорошее произноше-ние... — сказал он и добавил: — Как в кинофиль-мах.

В подошвах гудел перестук колес. В окне была плотная темнота. Как будто к стеклу прижали что-то сплошное и черное. Время от времени проска-кивали какой-нибудь фонарь или дом, и от окна улетали клочья разорванной тьмы, и фонарь, и дом. И снова что-то плотное прижималось к стек-лу, непроницаемое, глухое.

И Генка заговорил. Не кажется ли ей, что толь-ко и есть, что их вагон, где-то несущийся, а кругом

ничего нет. Что они едут уже очень давно и все время проезжают одну и ту же платформу, один и тот же фонарь, одну и ту же будку. И словно так и было и будет всегда. И в то же время Генка думал о том, что не стесняется говорить вот так, не стесняется, что это может оказаться пошло или шаблонно или красиво. Что ему все равно, так это или не так. И поэтому это не так. Что просто он знает, что не сможет сказать точно, а говоря обо всем этом, как-нибудь выразит то, что хочет. И не потому говорит, что знает, что может понравиться ей. И что именно потому он, наверно, понравится ей.

И они стали перебивать друг друга: а вот вы слышали... а вы знаете... а со мной однажды... а вы не замечали...

Электричка снова остановилась. Свет мигнул и погас. Они сидели теперь молча, недвижно и смотрели на черные круги своих голов.

Легкие полоски света бродили по лицам.

Собственно, ничего и не было между ними, думал Генка. Он чувствовал, что вот они приедут и он может пойти ее провожать. И ему хотелось это сделать. И он много раз вот-вот предлагал ей это. Но так и не предложил. Он чувствовал — почти знал, что может взять вот сейчас, сию минуту, ее руки в свои и даже поцеловать ее. Вот так, сразу — и ничего в этом неожиданного не будет. Что потом они будут «встречаться» и, как это говорится, у них «вырастет чувство» — и все будет хорошо. И он не брал ее руки в свои и не целовал ее.

Та внезапная и радостная болтливость, которая

овладевала им только что, исчезла. И не потому (как бывает), что стало стыдно этой болтливости перед лицом человеческой холодности, непроницаемости или насмешливости (болтаешь, болтаешь — и вдруг поймешь: зря, не то, что я говорю?). Тут такого не было. Просто что-то важное и живое шевельнулось вдруг внутри, и надо было прислушаться к этому живому. Генка почти не замечал девушки, хотя ее присутствие, наверно, и было необходимо, чтобы прислушиваться к этому «чему-то».

Просто он ощутил, что та пустота, которая появилась и была с ним, когда он сидел в том доме, и потом, когда бежал, и когда сидел в вагоне, — этой пустоты не стало. А ведь это была мучительная пустота и, казалось, надолго будет мучительной — и вот ее нету. Некоторое обалдение есть, это да. И определенно — есть облегчение. А пустоты нет.

Генка рассеянно посмотрел в окно и увидел забор, посмотрел выше — и увидел высокий дом. На крыше горели буквы рекламы. . .

— А ведь это Ленинград, — сказал он.

Странная рассеянность не проходила, и Генка что-то ничего не видел вокруг. Он машинально шел рядом с девушкой по пустому перрону, и они вышли на привокзальную площадь. Постояли. Генка глупо улыбался и смотрел, — куда — непонятно. Она сказала: «Мне туда» — и махнула рукой налево и выжидательно смотрела на Генку. Но Генка, так же глупо улыбнувшись, сказал: «А мне туда» — и махнул рукой направо. «Ну что ж, прощайте», — сказала она. «Отчего ж — прощайте? —

так же никуда сказал Генка. — Мы еще встретимся. До свидания», — сказал он. Девушка потопталась, то ли делая шаг в сторону, то ли нет.

А Генка стоял, уже точно ничего не видя. Смотрел никуда и улыбался. Когда же он вдруг очнулся и огляделся более или менее осмысленно, — никого рядом не было. Пустая площадь.

Про трамвай он как-то и не подумал. Наверно, они уже и не ходили. Он вышагивал, все так же глупо улыбаясь, и повторял одну и ту же фразу.

— Природа не терпит пустоты... Природа не терпит пустоты... Природа не терпит пустоты... Природа не терпит пустоты... — повторял он.

И вдруг остановился. Девушка стояла рядом с ним и мялась, и, наверно, не хотела уходить. Хотела, чтоб он ее проводил. Хотела, чтоб он ее поцеловал. И уж наверное — если не то и не другое — договориться о встрече.

Все это разворачивалось теперь перед Генкой постепенно и последовательно. Как в кино. Но тогда, на площади, — точно! — он ничего этого не видел.

— Дурак! — сказал он вслух.

Пошел дальше, уже медленней.

Как же я теперь ее найду? — думал он. И не найду. Мыслимое ли дело? Город какой... Да и стану ли? Наверно, что хочу. А стану ли?..

— Все это ерунда собачья, — сказал он вслух.

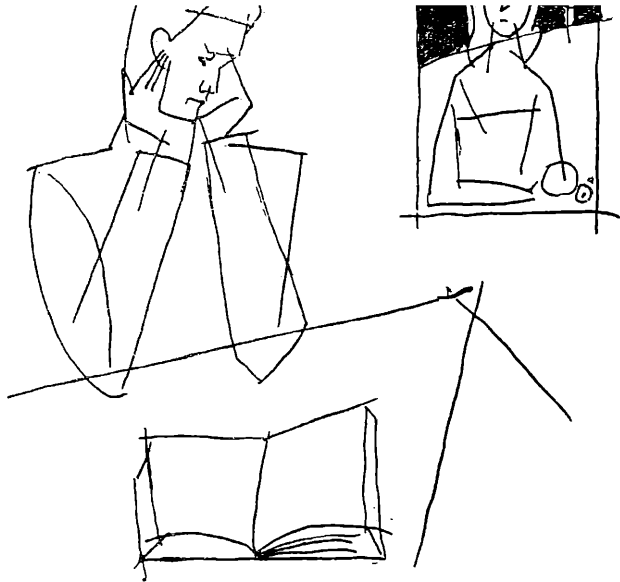
И тогда весь тот унижительный вечер начался снова. Генка хотел отогнать. Но вечер возникал неотвратимо и подробно. Со всеми мелкими униже-

ниями, которые, вспоминаясь, были так обидны, так досадны и жалки, что Генка отругивался вслух и чуть не рычал. Но эти мелочи всё вспоминались и составляли одну большую обиду. Он подумал, что только случайно мог называть это пустотой. На самом деле это не пустота.

Природа не терпит пустоты... — снова начал он. — Не терпит... Не терпит...

— Ах, черт! — сказал он.

Ноябрь, 1959



ЖЕНЫ НЕТ ДОМА

Иду я домой — и идти домой не хочется. Жена уже, наверно, на съемках... Изображает толпу. Актерка... И делать ничего неохота: слишком уж их много, дел, набежало. И есть дома нечего. Иду — как бы медленней до дому добраться. От самой работы — пешком. Но вот уже и дом в двух шагах — куда деться? ..

Вижу магазин, захожу. «У вас вся такая буженина жирная? — спрашиваю. — А красной икры у

вас нет?» Скучно это все, тем более, жрать охота. И винный отдел нехстати скалит бутылки. Сейчас бы в самый раз... Растравлять — так растравлять себя до конца. Подхожу. А там новинка — «Старка» в забавных маленьких — фляжках. А денег у меня на маленькую нет. А продавщица — миленькая девочка. Мне улыбается. И я улыбаюсь. Я даже сигарет решил взять, хотя только что уже купил рядом. Стою в очереди, и мы всё переглядываемся. Подошла моя очередь, улыбнулись взаимно, я взял сигареты и отошел. Только и всего. Так ничего и не сказал. Отхожу от прилавка, неохотно так, замедленно, и себя ругаю: вот ведь дурак! Но больше в очередь не встанешь: нечего и не на что.

Вышел.

А она мне в окошко ручкой машет.

Не выдержал, пересилил робость, вернулся:

— А когда вы кончаете работать?

Сказала. И я сказал. И она сказала...

— Ну, так договорились?

— Договорились.

— Жду.

— Жду.

Прихожу домой — что делать?

Жена на съемках. Актерка!.. И продавщицу забыл в расстройстве.

Пойти разве в общежитие. Позанимаюсь...

И тут вспомнил: у меня за энциклопедией маленькая стоит. Справляли день рождения. — осталась. От жены спрятал.

Спрятал, а с утра забыл. Потому что с вечера уже ничего не помнил. Уже целую неделю стоит.

«Старка» — старая водка — чем больше стоит, тем лучше.

Вот только бутылочка обыкновенная. А если бы была во фляжечке. . .

Можно было бы взять ее с собой.

Вот именно. Из любого положения можно найти выход. . . Пойду сейчас и обменяю свою маленькую на фляжку. . . Как раз продавщица кончит работать. Мы пойдем с ней, поболтаем. То да се. Присядем в садике. . . Деревья. Листья винтом слетают на дорожку. Воробьи щелкают. . . Тут я и достану фляжечку.

Я опоздал всего на пять минут, но продавщицу уже не застал. И обрадовался — собственно, мне и не надо.

— Слушайте, — сказал я ее сменщице, — мне очень нужна такая фляжечка. Вот у меня есть такая маленькая. . . Обменяемся, а?

А она качает головой: не положено. А я настаиваю:

— Правда, мне очень нужна фляжечка. А новую маленькую я купить не могу. Ведь содержимое такое же?

Девушка смягчилась.

— Вот надо ее спросить, — указывает она на старшую.

А та говорит:

— Так ведь фляжка дороже.

— А на сколько?

— Рупь восемьдесят.

— Так я доплачу, — говорю я, — это я могу.

Доплатил. Обменял.

— Спасибо, — говорю.

— Так мы могли вам просто продать пустой флакончик, — говорит продавщица, — как не догадались. . .

— Как это мы не догадались, — говорю я.

Вот теперь можно и домой податься. Прихожу. Жена на съемках. Актерка. . .

Пойду лучше в общежитие, позанимаюсь. . . Только как я ее без закуски выпью? Разбавлю-ка я ее чайным грибом. Ерш сделаю.

Получилось из маленькой две. Кладу фляжку в карман и иду в общежитие.

Прихожу, выбираю себе самого отличника, садимся заниматься. Занимаемся, занимаемся — тут я вспоминаю, что здесь же мой один приятель живет, картины пишет. Давно я его не видел. . .

— Подожди, — говорю я отличнику, — я на минутку.

Нахожу его дверь. Стучу — не открывает. Но слышал же я голоса? Вспомнил: стучать надо условным стуком, иначе не откроет. Это он потому, что не поймут.

Вспоминаю условный стук. Открывает.

А там еще два моих хороших приятеля сидят. И еще подруги. Ну и ну!

Пиво пьют.

Допил я пиво, посмотрел на картины, сказал мнение.

Вышли мы на улицу.

Холодно, задувает, и в кино ничего не идет.

— Что будем делать?

— А что делать. . .

- Да нечего...
- Ну, пошли.
- Не-ет.
- Куда едем?
- Так ведь решили.
- Что?
- Смотрите, ка-а-к-кая женщина!
- Вот это да.

Да, женщина, что и говорить. На жену похожа. И я думаю, что уже стемнело и какие уж теперь съемки. Жена, конечно, вернулась. Ждет...

А я тут неведомо с кем. И не позанимался.

- Ни, не пойду, — говорю.
- Ну, что ты?
- Да как же?
- Вот и Кирюха согласен.
- Поехали.
- Нет, — говорю я.

И мы едем. В трамвае холодно... Далеко едем. Долго. В самый далекий кинотеатр. На самую скверную картину.

Разговариваем.

— А я видела в кино слона на лыжах, — говорит одна.

— А я однажды на лыжах ногу сломал, — говорит другой.

— У нее ноги кривые, она — хуже, — говорит третья.

— А мне жена рассказывала... — начинаю я.

— А я видела в «Огоньке» — зебры с такими длинными шеями...

— А я себе однажды чуть шею не сломал...

— А у меня жена. . .
И вспомнил про фляжку. Достаяю.
Общий восторг. Пускаем по кругу.
— Вот сдам милиционеру, — говорит кондуктор.

Приехали. Оказалось, опоздали на четверть часа.

— Ну, пошли.
— Полтора часа торчать. . .
— Только за час внутрь пустят — полчаса мерзнуть.

— Да и картина — дерьмо.
— Домой поздно вернемся. . .
— Да и на дорогу не хватит.
— Ну что ж, пошли. . .
В фойе мы приканчиваем фляжку.
О картине и говорить не стоит. Но и она кончилась:

Мне в обрез на трамвай. Но и трамвая нет.
Наконец я трясусь из одного конца города в другой.

Холодно.

Кондуктор говорит:

— Трамвай идет в парк.

И пехом. И пехом. . .

Прихожу. Думаю: уговаривать придется. . .

А жены нет.

— Где был? — говорит мама.

— В общежитии. Занимался. А ее нет?

— Не приходила.

— И никто не звонил?

— Нет.

Значит, я никуда не ходил, думаю. Она приходит, а я сижу в прибранной комнате и занимаюсь. Спокоен и холоден. . .

Актерка. . .

И я очень спешу пообедать и немного прибраться.

Успеваю.

Сижу. Актерка. . .

В учебнике неинтересно.

Завалилась, наверно, в кабак. . . Вот она приходит пьяная. А я ей разогреваю обед, укладываю спать. . . И ничего ей не говорю. А наутро у нее угрызения. . . Но я ей ничего не говорю.

Лучше лечь в постель. Буду лежать и читать учебник.

Лежу. Актерка. . .

А может, она шла пьяная — или даже лучше трезвая, — и ей отрезало ноги. Но я от нее не отказываюсь. Я ничего не даю ей почувствовать. Мы даже стали дружнее. Вот как та пара, что ходит по нашей улице: он седой и красивый, а она — красивая и без ног. . .

Лежу.

Наконец-то!

Я вскакиваю как ошпаренный, впрыгиваю в халат. . . Невозмутимо открываю дверь, не говорю ей ни слова и хладнокровно ложусь обратно. Лицом к стене.

А жена как начинает с порога рассказывать, как она промерзла на съемках, какая бессмысленная вещь эти съемки, что за люди — ужас! То хоть не верь. Уж больно она старается. До чего она энер-

гично рассказывает как раз про то, в чем я сомневался.

Но от нее не пахнет спиртным. И у нее действительно замерзший вид. Да сегодня и немудрено замерзнуть. Особенно если съемки на улице.

Наверно, она думала о том, как я думал, думаю я. Наверно, поэтому так старается. . .

Я успокоился, но нельзя же так сразу менять настроение у нее на виду. Поэтому я сохраняю строгость. Да и вроде раз все в порядке, то о чем еще говорить. . . Все в порядке, все — как было.

А жена, видимо, еще не знает, что я успокоился. И еще говорит, сбивчиво, много.

— Чего же ты молчишь? — говорит она наконец. — Тебе что — неинтересно? Ты никогда мной не интересуешься. . .

— Нет, отчего же, — говорю я.

— Издеваешься, да? . .

— Очень нужно, еще издеваться. . .

— Вот-вот, тебе ничего не нужно! Тебе все равно. . . Думаешь, домой хоть придешь. . . Промерзла вся. . . — всхлипывает жена.

У меня на душе уже кошки скребут — жалко.

— Возьми на столе, — говорю я, не отрываясь от книжки и не отворачиваясь от стенки. — Согреешься.

— Ага, значит, ты уже распивал свою маленькую?

— Какую маленькую?

— Ну, ту, что ты прятал от меня за книжками?

- Нет, там ровно маленькая, — говорю я.
- Как же это ровно маленькая?
- А вот так же. Никогда ты ничего необразишь. . . — Я встаю и переливаю остатки ерша во фляжку.
- Откуда у тебя фляжка?
- Обменял.
- Где?
- В магазине.
- Как?
- А вот так, свою маленькую — на фляжку.
- Ну уж это ты не ври. Чтоб ты да обменял. Да ты же у милиционера дорогу спросить постесняешься. Это я бы обменяла. А где уж тебе. . .
- Обменял вот.
- Перестань! Я тут на улице из-за тридцатки мерзну. Копейки на себя не трачу. А ты. . .
- Да ты что! Да я что — оправдываться должен! Да? А сама где-то с актеришками по кабакам шляешься? . .
- Да ты. . . ты. . . Ты — знаешь кто?! — говорит жена.
- Ладно, знаю, — говорю я. — Выпей лучше — согрейся.
- Отхлебывает.
- Да это же не «Старка»?!
- А что же?
- Лимонад.
- Много ты понимаешь. Это ерш.
- Так, значит, ты еще и лимонад купил? А где же остальное?
- Что — остальное?

- Ну когда разбавил... Где еще маленькая?
- Распили.
- Где?
- В общежитии.
- Когда ты успел?
- Успел.
- Так ты еще сколько пропил?
- Нисколько.
- А как же фляжка?
- Обменял.
- Опять то же... Да сколько вас пило-то?
- Пятеро.
- Что тебе, трудно правду сказать? Трудно, да? Что ж это вы, впятером, что ли, полмаленькой пили? Так, что ли?
- Ну да.
- Издеваешься, да?.. Ничего не понимаю...
- А чего тут понимать! Все ясно.
- Ничего не ясно!..
- Давай лучше спать, — говорю я.

И вот я лежу лицом к стене — и надо же мириться. И я начинаю объяснять, как я был в институте, и как шел из института, и как заглянул в магазин, а там были фляжки, и вот — глупость, конечно, — но очень она меня заинтересовала, фляжка, и я сходил домой, нашел там... и вдруг мне становится так скучно! Что же это я? Куда уходят дни? И как же, действительно, можно это все объяснить?

Март, 1960

СТРАШНАЯ

СИЛА

1

Местность была голой, каменистой, и красот никаких не было. Хотя места эти знамениты, может, не меньше, чем Байкал или Карпаты. Если бы я назвал их, вы бы тотчас сказали: «Да, слышал, красивые места. . .» Вся красота была где-то рядом, а я сколько ни ехал до места назначения, — все было выжженным и безрадостным. Чего было много, так это солнца и дороги, на редкость тряской. Угловатые камни выщелкивали из-под колес, и пыль, конечно. Мой рюкзак покрылся толстым сло-



ем. И колени, и плечи. Не то что расческа — вся пятерня увязала в волосах.

Тут уже было недалеко, но ехали мы как-то слишком долго. И казалось, всё по одному месту — такое однообразие вокруг. Я старался представить себе, какой это будет поселок. Получалось, что он будет такой же, какой я видел в прошлом году в другой экспедиции. Только я переставлял контору на место столовой, а столовую на место клуба. Все то же, только вот в этой унылой местности. Я думал, какие там будут люди, — и они были такие же, или почти такие же, как в прошлом году. Или я переставлял начальника на место завхоза, а завхоза на место механика. Получалось забавно.

Я думал, что это очень ответственный для меня момент — первые дни в незнакомом коллективе. Ведь быть мне там четыре месяца, и все четыре зависят от того, как начнутся первые дни. Это я уже представлял, даже из своего малого опыта.

Надо, думал я, быть со всеми по-хорошему. К людям подходить открыто и без настороженности. И тогда они сразу поймут, что я хороший парень. Ведь плохих-то и нет людей, рассуждал я. Это же слишком трудно — быть плохим.

Это была моя собственная идея, и я ей радовался.

Вот и шофер хороший человек, думал я. Славное такое лицо. . . И этот из управления, что с ним в кабине, — тоже внимательно ко мне отнесся.

Собственно, плохо можно только видеть. . . Надо приехать — и видеть хорошо, думал я, лоя рюкзака

и больно стучаясь о катавшийся по кузову огне-тушитель.

Мы ехали и ехали, и было так же пыльно и безрадостно, и ничего не менялось вокруг. Казалось, стоим на одном месте и зачем-то трясемся. Но тут горы, бывшие где-то вдаль, сбежались к дороге, и мы долго забирались вверх, а потом нырнули вниз и оказались в котловинке: вокруг — горы, в середине — поселок.

И поселок был совсем другой, чем я себе представлял, не только местность. Прошлогодний был деревянный, а этот каменный. Дурак, подумал я, ведь ясно же: откуда бы тут быть деревянному? ..

Вокруг были голые камни, и дома были частью этих камней, и людей видно не было. Только очень много солнца.

Мы подрулили к каменному дому, что был побольше остальных. Вдоль него тянулся длинный, совсем выцветший лозунг — так что и не прочтешь его — совсем белый.

2

— Вот твоя койка, — сказал завхоз.

Я сбросил на койку рюкзак. Пружины запели. И вдруг стало очень тихо. Тогда стал слышен храп.

В комнате было еще три койки. Две пустовали. На третьей лежал человек в трусах и соломенной шляпе. Храпел и свистел.

— После обеда зайдешь; дам матрац и белье, — сказал завхоз и вышел.

Человек в соломенной шляпе вскочил.

— У-у-у-у! — сказал он. — Видеть не могу!

— Кого?

— Да вот этого. . .

— А мне показалось, славный. . .

— Ты, друг, еще ничего не знаешь. . . Меня Климом зовут.

— Витя, — сказал я.

— Пойдем, пойдем, — Клим вытащил меня из комнаты. — Подними, — сказал он, показывая на ржавый скат вагонетки, валявшийся рядом с домом.

Я стоял в нерешительности.

— Штанга, — сказал Клим, — подними. Ну что стоишь зря? . .

Он подскочил к штанге, взял на грудь. Выжал раз, второй. Бросил.

— Ну?

Не больше шестидесяти, подумал я.

Я подошел, выжал. Пять раз. Потом толкнул. Потом вырвал. Потом положил на плечи и несколько раз присел.

— Ну-у-у! — протянул Клим, — ты меня научишь. Пойдем.

Он снова затащил меня в комнату.

— Тут совсем нету молодежи, — сказал он. — Вот на твоей койке спал один — уехал. . . Ты, наверно, занимался штангой-то, а?

— Нет, — соврал я. — Так, баловался.

— Ну, ты здоров! Слушай, у меня есть идея. . . Ты тут, конечно, не в курсе. Но скоро узнаешь. Идея у меня. . . Доказать им всем. Меня из техни-

кума ни за что выгнали. Так вот, хочу поступить в институт и всем им отомстить!

— Кому — им?

— Э-э-э, ты ничего не понимаешь. Не такой я человек, чтобы так оставлять... Понимаешь, начальник нашей партии кончал тот самый техникум, из которого меня выгнали. Ему, понимаешь, написали сюда... Так он и выгибается. Недавно разряд мне понизил ни за что. Так вот я ему и докажу: в институт поступлю. А он сам третий год поступить не может... Понимаешь?

— Понимаю, — говорю я. — Только плюнь ты на это.

— На институт?!

— Не на институт, а на счеты.

— Ничего ты не понимаешь, — сказал Клим, — думал, ты хоть поймешь... Тут всё народ такой — ни у кого своей идеи нет. У тебя хоть есть? — снова наскочил он на меня.

— Есть, — сказал я.

— А какая?

— Так ведь идея-то своя...

— Тоже выгибаешься... Ну, пошли, я тебе все покажу. А штангой ты занимался.

3

— Новоселье, да и только, — сказал Клим. — Крюк вернулся. Знаешь, что я тебе скажу: с этим человеком лучше вместе не работать.

— Почему? — сказал я.

— Я говорю — значит, знаю. Есть причины.

— Ну, — сказал я, — у тебя все. . .

— Не все! — рассердился Клим. — Все ребята у нас как надо. Начальники — дело другое, на то они и начальники. А этот, хоть и работяга, а дрянь. Не веришь — узнаешь. . .

— Ладно, — сказал я, — ладно.

— Я тебе вот что советую: я послезавтра, по своей идее, уеду, ты на мое место и встанешь. Ребята у нас простые, хорошие. . .

. . . Вечером ко мне подошел парень. Красивый парень.

— Привет, — сказал он, — я тебя в конторе видел. Ты только приехал.

— Да.

— Еще ни в какую бригаду не пристроился.

— Нет.

— Так. Меня зовут Юра. Тебя Витя. Я тоже только приехал. Предлагаю работать вместе. Ты, я вижу, парень здоровый. А со мной не пропадешь: я всегда больше всех проходки могу дать. Ну, как?

— Так это ведь старший мастер решает. . .

— Не более насчет этого. Все будет в порядке. И станок у нас будет отличный. Не то что остальные керосинки. Идет?

— Ну, раз так. . .

— Ну и отлично. А пока пойдем выпьем за встречу. . .

. . . В тот же вечер я поссорился с Климом. Или он со мной. Соображал я довольно слабо.

Вот я и работаю. Выхожу на смену с Юрой Крючковым. Он — сменный мастер, я — старший рабочий. Работать с ним приятно. Кажется, и не трудится вовсе, а проходки каждый раз чуть не вдвое больше, чем у остальных. В общем, мастер.

Как все наладим, пустим станок, — бурение идет, а мы разговариваем. Скучно не бывает: друг друга мы не знаем, следовательно, рассказывать можно все подряд. Однажды, за разговором, я спросил:

— А что против тебя Клим имеет?

Что-то проскользнуло по его лицу, и он сказал:

— Дурак он... Да и вообще, тут все — гады. Ни за что бы сюда не вернулся, да пришлось.

— Как это пришлось?

— Да так... — сказал он, и разговор кончился.

Так я ничего и не понял. А когда мы возвращались с ним с работы, он сказал:

— Завидуют они мне. Видишь, как я работаю... А они не могут. Серые. А еще, в соседней партии у меня брат начальником. Тоже завидуют. — И вдруг обозлился: — Я их всех побить могу! Любого. Трусы...

Клим говорит:

— Вот, уезжаю. Штангу, значит, — тебе. За нашим Бобкой смотри... Знаешь Бобку? Старый он совсем старик. Подкармливай. Я тут его подкармливал. Ну, так вот...

Мы стоим и молчим.

Потом я говорю:

— Не робей, поступишь обязательно. Главное...

— Знаешь, — перебивает он меня, — я тебе еще раз говорю: брось Крюка, иди на мое место.

— Зря ты... — говорю я. — Он мне даже помогает.

— Так это он тебе не доверяет. Он всегда готов за другого сделать, потому что уверен, что знает все лучше всех...

— Ну, — говорю я, — это слишком уж сложно.

— Брось ты его. Ребята уже на тебя косятся. Не свой ты им. И все из-за Крюка. Я тебя перед всеми защищаю, говорю, просто опыта у тебя мало — в людях разобратся. Вот теперь уеду... Крюк-то ни за кого не заступится...

— Ладно, только объясни мне хоть, в чем дело с Крюком?

— Ну, всей истории я не знаю, — говорит Клим, — только неужели ты сам не видишь, что это за человек?

— Я не умею так, — говорю я. — Мне знать надо.

— Смотри. Лучше сейчас. А то поздно будет.

— Я-то при чем? Я ведь никому плохого не делаю.

— Ну, как знаешь... — Клим вдруг потускнел. — Бывай.

Клим залезает в кузов. Машина трогается.

— Ни пуха ни пера!

— Смотри за Бобкой.

В нашей партии четыре собаки. Наш Бобка — старый огромный волкодав, подагрик — ходит еле, голова тяжелая, умная — философ, а не пес. Другой Бобка — молодой волкодав — почему-то ни у кого уважением не пользуется, его не замечают; он и бродит все больше где-то далеко от партии, словно чувствует это. Еще Пират, небольшой пес, непонятной породы: лапы кривые, короткие, тело — бочонком, глаза навывкате, и лицом ужасно похож на нашу бухгалтершу Марью Ефремовну, — нелепый и хитрый пес. И еще Кнопка, — крохотная лаечка, личная собственность сменного мастера Коли Библина.

Этой ночью наши собаки что-то разошлись. Слышно было, как они, злобно рыча и сцепляясь, носились из одного конца партии в другой. Рев рос в отдалении, разрастался, проносился под нашими окнами и таял в отдалении.

Наутро стало известно, что ночью наш Бобка, и другой Бобка, и Пират, который, наверно, все и затеял, разорвали третьего, приبلудного, Бобку.

Это наши-то, такие тихие и скромные, в сущности, собаки. . .

После смены мне стало как-то одиноко. Два дня, как уехал Клим, мне и поговорить было не с кем. Все как-то захлопываются, когда я подхожу. И я никак не пойму, в чем дело. Мне же эти люди и нравятся, и иду я к ним открыто, а они — словно я им что-то не то сделал.

Вот встретил Колю Билибина. Уж так он разрисован, на славу. . . Такое событие, как драка, мгновенно становится известным всей партии. А я ничего не знаю. У него самого спрашивать неудобно, хотя он такой человек, он, может, и рассказал бы. А у других — не спросить.

Неуютно от этого предельно. А ведь место для меня новое, и я в нем новый человек. От дома далеко. . . Слоняюсь по территории в одиночку. Надумал пойти в клуб в бильярд сыграть. Вхожу, чувствую — только что был там разговор, а при мне приумолкли. Ничего, думаю, это ничего. Стою, жду конца партии. И вот проигравший уходит. Я беру кий, собираюсь сыграть с победителем. А этот парень говорит вслед приятелю: «Подожди, я тоже с тобой. . .» И уходят. И я один с кием в руках. Прощли мимо, словно меня тут и не было. Это меня уже разозлило, завело: что я им сделал?!

Прав Юрка: все — гады. . .

И пошел к Юрке. Хотя, по правде, надоел он мне своими разговорами весьма. Хотя, вообще-то, парень как парень, неплохой даже. Но все-таки не настолько, чтобы его и после смены видеть хотелось. . .

Прихожу.

— А, это ты! Входи, друг. . . Присаживайся. Вот я тебе сейчас штрафную налью. . .

Вижу, он уже поднабрался.

— Видел Колю? — спрашивает.

— Видел.

— Это я его так. . . Красиво?

Я молчу.

— Вот я тоже говорю — чистая работа. А они мне говорят: на улицу не выходи, — за Колю. Грозятся, гады. . . Да я их! . . — Он привстал, качнулся, плюхнулся обратно.

И вдруг — странное дело — нос его задергался. Он подался телом вперед. Хрюкнул. Отчетливо, громко. . . Еще хрюкнул. Красивое лицо его сморщилось, покраснело — печеное яблочко. . .

— Не могу больше! . . Нигде прислониться не могу. Подамся я. . .

Уронил голову на стол. Всклипывал протяжно, всасывал воздух со свистом, глотал. . .

— На Чукотку. . . Ищи меня тогда. . .

Даже жалко стало. Ну куда, действительно, деться парню?

— Так ты с ребятами на мировую пойдешь. Выпей хоть с ними. Помоги кому-нибудь.

— Да, — вскрикнул он, — да. Это ты правду сказал. Единственный ты — человек. Да, так и начну. . . Все сначала. Вот сейчас пойду. . .

Он затих. Казалось, уснул.

Я тихо выбрался из комнаты.

Пришел к себе. Соображения, впечатления как-то путались в мозгу. И все казалось жестоким. Вот пошли бы ему как-то навстречу, ведь он рад был бы. . . И он — такой слабый человек — а, может, всех жесточе. А почему эти люди так ко мне отнеслись? . . . Вовсе непонятно. Эта атмосфера последних дней: все большее отчуждение, а сегодня — вообще бойкот. Что за странные отношения между людьми. . .

— Лежишь... — Надо мной стоит мой сосед. — Сходи полюбуйся, как твоего приятеля отделили... — в голосе злорадство.

— Где?

— В клубе. Дружки... — процедил он мне в спину.

В клубе никого не было. А в углу, за бильярдом, на полу, расшвырнув ноги и свесив голову, — Крюк.

Подхожу:

— Юра...

Молчит.

Приподнял ему голову, смотрю: м-да...

Крюк посмотрел на меня мутным взглядом, узнал.

— Сволочи! — всхлипнул он, растирая кровь по лицу. — К пьяному пристали... На мировую шел...

Это уже не умещалось в моем мозгу.)

— Кто тебя?

— Все, все...

— Кто — все?

— Санька...

Мешается в голове: как так? как можно?.. Бессмысленно, тупо, зло...

Я проводил Юру домой. Кое-как справился с первой помощью. Оказалось не так уж страшно: бровь, нос.

Я оставил его и слонялся по лагерю, не зная, кого спросить, как. Меня обходили. Вернулся в клуб. Саня, тот, что избил, спокойно играл в бильярд.

Это меня возмутило. Сердце застучало где-то в горле.

Я подошел к нему и сказал, давясь!

— Ты за что же Крючкова бил?!

Молчит, словно и нет меня. Прицелился. Шары щелкнули.

— За что, спрашиваю, Крючкова бил?!

— А-а, — сказал он, — студент... За что?.. Видали? Знаешь, милый, не суйся. Сам по ниточке ходишь.

— Он же на мировую к вам шел!..

— На мировую, ха! Не лезь, тебе говорят.

— А и вправду, — сказал другой, — отойди лучше.

— Пьяного-то не сложно побить... — не унимался я.

— Ишь, грозитя, — усмехнулся Саня. — Уходи, говорю, студент. Науки тебя, видно, всего скушали. И человека-то не осталось.

Во мне все болталось и прыгало. Кровь — приливами и отливами: то жарко, то холодно.

И ничего не понимал. Только, помимо тех обидных, непрощаемых вещей, что говорил мне Саня, какая-то такая убежденность была в его виде и голосе и в согласии всех находившихся там, что заколебалось что-то во мне. Я стоял оглушенный, не в силах разобраться в оттенках.

А до сознания медленно добиралась чья-то фраза:

— Что? Сдрейфил?

Как-то так получалось всю жизнь, что я никогда не дрался. Может, мой флегматизм и физическая сила способствовали этому. Во всяком случае, я склонен думать, не трусость. У меня и столкно-

вений-то таких не было... А тут? Что делать сейчас?.. Все стоят и ждут, что я сделаю. А я стою как лень. И есть во мне обида, но пропущен момент, самый злой, самый первый. А теперь надо как-то заставить себя лезть на Саньку, чтобы не позориться. Ведь это условия опыта: меня проверяют, что-то хотят узнать... .

— Не думал, что такой ты мягкий... — сказал Саня.

Подключаются еще:

— Что ж, студент...

— Ну, ты скажешь... Студенты разные бывают. Вот в прошлом году был — это, я тебе скажу, был парень! А этот...

— Пышка!..

— Глянешь на него: очки что ветровые стекла... брючки — где ты такие достал?.. — картинка и только.

Еле сдерживаюсь (странно, ведь я именно жду этого и все же сдерживаюсь — боюсь, что ли?), может, объяснить им, просто, ясно...

— Я же вам говорю, ребята...

— Мы тебе не ребята.

И выползает шипящее, ненавистное:

— Пыш-ш-шка...

Тут я забыл все. У меня было впечатление, что сила моя переросла меня, и я заполнил комнату. Я схватил бильярд за борта и с поразительной легкостью поднял над головой. Шары запрыгали по полу.

— П-п-па-дай-ди!!! П-падла!

Все отступили молчаливым лукольцом.

А я говорю им все те слова обиды, которые мне хотелось сказать гораздо раньше.

И то правда: слова выходят — сила уходит. Злость как-то прожурчала и кончилась, словно воду отключили. А держать бильярд (хоть и вшивый бильярдик, но все-таки стол), держать над головой и ругаться — право, не легко... Завод кончился. Несносный я человек!

— Ну, ладно, хватит, ребята... Опустит-ка стол, Витя, надоело ведь...

И этот ласковый голос подействовал мгновенно и неожиданно. Я грохнул столом о пол, ребята загудели...

А сказал эти слова, оказывается, Коля, сменный мастер, хозяин Кнопки, которого избил накануне Крюк.

5

Крюк исчез на следующий день. Подался к брату — начальнику.

Я работаю с Колей. Мы с ним подружились, хотя он и гораздо старше меня. Золотой он человек...

Оказалось, ни о какой мировой Крюк и не вспомнил, а пришел в клуб и сам все начал.

— За что же он на тебя напал? — спросил я однажды Колю.

— Да так... — сказал Коля. — Ни за что.

— Как так?

— Да так.

— Ну, допустим... А почему же и до этого случая все его так не любили?

— Я-то всей истории не знаю, — сказал Коля, — но раз уж все, то что-то тут было...

— Как же, — удивляюсь я, — ко мне он как хорошо относился... Просто душа, да и только.

— А ты что думал? — говорит Коля. — Он ведь все же человек — и ему общество нужно. Тут его все знают как облупленного: никто с ним ни разговаривать, ни работать не станет. А ты человек свежий. Вот он в тебя и вцепился, пока ты не разобрался, что к чему. А ты парень хороший, с тобой не скучно...

— И дело он здорово знает, — говорю я.

— Работать он умеет, это да. Только умение его боком всем выходит. А он только метры дает... Не коллективный он человек, вот что... Да и хватит о нем.

— А как же я? Почему на меня все так...

— А ты как думал: приехал — и все в порядке? Ты человек новый, тебе проверка требуется. Приехал — посмотри сначала... Тут же коллектив, смотреть надо, куда ногу ставишь. Коллектив — стра-а-ашная сила...

— А вины моей все-таки нет, — говорю я. — Я ведь со всеми по-хорошему...

— Есть и в тебе кое-что... Всеядный ты какой-то. Вот Клим — тот другой. Ты хочешь быть со всеми хорошо, а со всеми, по-видимому, нельзя быть хорошо. Впрочем, я сам в этом не силен...

— Ну, допустим... — говорю я. — А если бы я был послабее и не смог поднять этот бильярд?

— Странно ты рассуждаешь, — сказал Коля. — Ты же поднял?

— Ну и что?

— Ну и все.

— Ну а как же с Крюком будет?

— Это случай тяжелый... Не знаю. Прислониться ему негде. Коллектив — стра-а-шная сила...

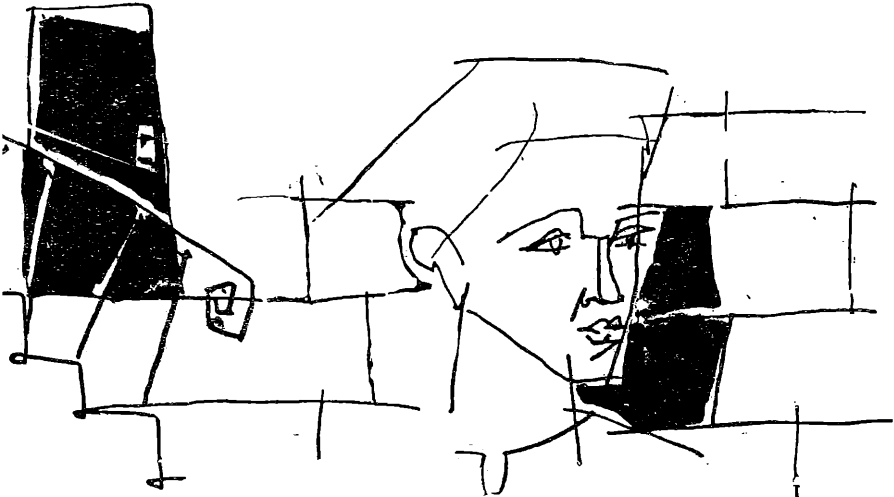
...А я все думаю, что приглядываться и взвешивать, когда к людям идешь, — тоже нехорошо. И сразу человеку не доверять нельзя. И сразу нельзя думать, что человек может оказаться плохим.

И в чем я виноват, думаю? И не просто, а перед всеми?

Может, недоразумение?

И что такое — всеядность?

Февраль, 1961



Д В Е Р Ь

Мальчик промерз под аркой. Уже полчаса прошло. Конечно, раз она так опоздала, то она сюда и не пойдет. Она сразу пройдет в ту парадную. А может, она уже вошла и поднялась на третий этаж, ей открыли дверь, и она вошла в квартиру... Вдруг она опоздала и решила, что он не станет ждать ее так долго на таком морозе, и она уже там? А как же он?.. Но может, она подумала, что он сам пойдет туда. И сейчас ждет его там, на третьем этаже... Но как же ему туда пойти, если он

и был там всего один раз, и тогда все эти мужики подсмеивались над ним. . . И если, может быть, она еще и вовсе не пришла туда.

Мальчик вышел из-под арки, дошел до парадной, озираясь по сторонам, не идет ли она — навстречу, сзади или по другой стороне улицы. Вошел в парадную. Теперь я ее не пропущу. . .

Тут было теплее. Главное, не дуло. Он растер себе нос и щеки, и лоб. Лицо загорелось. Вдруг подумалось, что у него теперь очень красное лицо и что сейчас войдет она. Мальчик стыдился своего румянца и своих лет. И от мысли, что вот покраснелся и совсем мальчишка, покраснел еще больше.

Но она не приходила. Сначала ему казалось, что дверь откроется сию секунду. Он, вздрогнув, смотрел на дверь. Но это либо просто казалось, либо входил кто-нибудь другой. Не она.

Тогда он подумал, что, может, она все-таки прошла мимо парадной и ждет под аркой, пока он тут греется. Выбежал, добежал до арки — там никого не было. Тогда он подумал, что в этот момент она входит в парадную. И вот, они разминулись. . . Он поспешил обратно. В парадной никого не было. Мальчик стоял в парадной, за стеклянной дверью, и смотрел на улицу на тот случай, если она пройдет мимо, к арке. Но в какой-то момент, когда он отвернулся посмотреть, кто спускается по лестнице, ему показалось, что она прошла мимо двери, только он не заметил. Спускался толстый старик. А промелькнула за стеклянной дверью, конечно же, она! Мальчик еще раз сбегал к арке. Там, конечно, никого не было. И он вернулся.

Нельзя быть таким ребенком, думал мальчик. Надо все обдумать, а не метаться и не сходить с ума. Прошло сорок минут, и, конечно, она уже не подойдет к арке. Тогда одно из двух: либо она уже пришла и сидит там, в комнате на третьем этаже, пока я ношусь тут внизу, либо она еще не пришла, и тогда надо ждать ее тут, на лестнице. И необязательно у дверей, потому что она все равно не пойдет к арке, раз так опоздала. Можно подняться на третий этаж и погреться у батареи. Так.

Мальчик решительно поднялся на третий этаж. Погрел руки на батарее. Посмотрелся в оконное стекло. Снял шапку, причесался и снова надел. Поправил шарф. Лицо уже не горело. Он присел на батарею, не спеша достал сигарету, закурил. Голова закружилась, все поплыло немного. Мальчик совсем недавно начал курить. Было приятно — словно укачивало. Он разглядывал дым, который пускал то изо рта, то из ноздрей, то пытался сделать кольцо. . .

Внизу хлопнула входная дверь. Мальчик вздрогнул. Еще раз поправил шарф. Очень некстати снова загорелось лицо. И застучало сердце. Уже по шагам он понял, что это не она. Это была бабка. Она прошла мимо как-то боком, смерив его с ног до головы. Так и поднималась, не отрывая взгляда от мальчика и, по мере подъема, разворачиваясь вокруг собственной оси. К двери она подошла уже совсем задом. Эта дверь была соседней с той, за которой следил мальчик. Озираясь, старуха чуть приоткрыла дверь и с трудом протискалась в такую узкую щель, и поспешно прихлоп-

нула за собой, а потом загремела крюками и цепочками.

Мальчик посмотрел на часы: двадцать минут десятого. Уже час двадцать он ждет. Уже поздно. Ему надо бы повидать ее и идти домой. Потому что мама не знает, где он пропадает так долго, выйдя за циркулем к приятелю напротив. Правда, она косилась на новую рубашку и ботинки и говорила, что он ее в гроб вгонит. Впрочем, она уже давно позвонила к приятелю, и сейчас они разговаривают, две матери. Мальчик спустился вниз, позвонил домой, а следом — приятелю: так и есть, короткие гудки и там, и там. Мальчик обрадовался, что разговор не состоялся. Ведь он скоро вернется, и совсем не стоит говорить об этом по телефону. . .

А времени прошло два часа. И мальчик подумал: должно быть, она уже там и они как-то разминулись. Просто необходимо узнать, там ли она. Может, он зря ждет?

Он поднимался, все более замедляя шаги. Но вот и дверь. Снова поправил шарф и шапку. Потянулся к звонку. Поколебался: вспомнился тот красивый парень, который похлопывал его по щеке и смеялся небрежным смешком. И она смеялась тогда тоже. В то же время мальчик думал, что позвонить все-таки надо. Надо все уяснить наконец. И когда он все-таки нажал кнопку, то почувствовал себя уверенней и смелее.

Он услышал, как за дверью открылась другая дверь, откуда вырвался смутный шум, как шаги подошли к двери, как щелкнул замок. . .

И вот перед ним та самая подруга.

Шум уже был явственным. Шум очень определенного свойства, так что мальчик услышал не только голоса и музыку, но и табачный дым, и бутылки на столе.

— А-а, это ты, мальчик. . . — сказала подруга, поднимая брови.

— Я, — сказал мальчик.

— А она еще не приходила, — сказала подруга.

Он смотрел на подругу в упор, стараясь поймать взгляд, чтобы понять, лжет та или нет. Потому что не слышал ли он явственно среди других — ее голос. . . И сейчас слышит.

Эта подруга походила на большую, красивую рыбу. И сейчас, когда мальчик точно различал там, в шуме, один голос из многих, подруга не нравилась ему еще больше и еще больше походила на рыбу, только уже не красивую. Этой рыбе очень трудно посмотреть в глаза — большие, серые, навывкате, — как ни взгляни, всегда попадешь между, куда-нибудь в переносицу. Эта рыба все время поглаживает свои обтянутые бедра, словно вытирая свои всегда сырые руки. . .

Рыба открывает рот, и рыба закрывает рот.

Потом, когда дверь закрыта, а рыба словно ушла в стену, он понял движение губ:

— Она, наверно, и не придет сегодня.

«Я же слышал ее голос, — думал мальчик, — там, среди других! Значит, она не хочет меня видеть. Она там, с ними, даже с ним. . .» С тем, который брал мальчика за подбородок. А он здесь, на лестнице. . . И она знает это. И сама сказала подруге, чтобы та прогнала мальчика. . .

— Гадина, — сказал мальчик. — Гадина, — сказал он вслух. — Гадина! — сказал он, спускаясь по лестнице.

А если действительно ее там нет, рассуждал он. Если мне, глупому ревнивцу, просто показалось, что это был ее голос... Она ведь не может так обмануть.

— Глупый ревнивец! — сказал мальчик. — Глупый ревнивец.

Это его как-то успокоило. А может, это подруга обманула и его, и ее? Не сказала, что пришел мальчик.

— Дрянь, дрянь, дрянь! — сказал он.

Мальчик стоял внизу и никак не мог остановиться на чем-нибудь из трех. Обвинить кого-нибудь из трех. Только обязательно одного. Чтобы стало ясно.

Надо позвонить по телефону. Мальчик боялся звонить ей часто по телефону. Она говорила, что у нее неприятности из-за телефона, чтобы мальчик просто так не звонил. Мальчик так просто и не звонит: надо же что-то выяснить. Может, она дома и не придет сюда... Тогда все сомнения ни к чему, и ему надо спешить домой.

Он опустил монету, набрал номер. Сердце колотилось. Грубый голос. Нет дома. Да, давно. Да, неизвестно.

В любом случае, думал мальчик, надо еще подождать. Может, она в дороге и сейчас сюда придет.

Мальчик поднялся к своей батарее и снова закурил. Он казался себе очень спокойным и взрослым.

Поджимал губы, делал твердое лицо, рассматривал себя в оконном стекле, думал о себе в третьем лице разные вещи, смотрел, как он пускает дым и стряхивает пепел.

А она что-то не шла.

Мальчик заволновался. Ведь ему надо было еще купить масло: мама велела. Да и мама... Ждет. Скандал. Скоро магазины закроются.

Как это глупо... Надо было купить масло по дороге из дому. Даже если бы опоздал к арке, то ведь ее все равно не было. Глупости, откуда я знал... А сейчас я ее пропущу.

А она не идет.

Но, может, он не ошибся, когда слышал ее голос, и она действительно сейчас там и действительно обманула его...

Да нельзя же так! сказал себе мальчик. Ведь если я жду уже два часа, то выскочить на минутку в магазин напротив, купить масла и вернуться — это капля в море... Он ничего не пропустит. По теории вероятности, И нельзя думать, что она придет как раз в ту секунду, когда мальчик отлучится. Это уже бред. Надо же быть женщиной! В конце концов.

Так себя настроив, он решительно вышел на улицу, бегом добежал до магазина. Проскользнул мимо тетки, собиравшейся закрыть дверь.

С маслом все в порядке. Он перебежал улицу, ворвался в парадную, помчался по лестнице... Может, она все-таки зашла именно в эту минуту, может, он нагонит ее сейчас. Добежал до самой площадки... Никого.

Сел на свою батарею.

Конечно, думал мальчик, такой случайности, чтобы она прошла сюда как раз, когда я отлучился за маслом, — такой случайности быть не может. Тем более, я обернулся чудо как быстро.

Значит, она уже там и обманула его. Приходить к подруге сейчас нет никакого смысла. Но, может, она пошла по какому-нибудь делу и не смогла предупредить мальчика. Может, она даже не уходила из дому, а ему просто соврали, что ее нет.

Надо идти домой. Дома скандал. Да, если она ушла по делу или если ему соврали, тогда надо скорее бежать домой.

Ну а если он не ошибся — и это ее голос... Там, в комнате, где дым и бутылки! Тогда как же он убедится, узнает правду? Тогда надо дожидаться, когда она выйдет. Если она там, то не исчезнет же она... Если она выйдет — все станет ясно.

Внизу кто-то залязгал крюками. Но дверь не хлопнула. Никто не вышел. Больше там никого не ждут... Странно, вдруг по всей лестнице забрякали крюками и задвижками, запирая двери на ночь. Почти одновременно загалдели железки по этажам, и этот галдеж хорошо слышен по всей лестнице.

Мальчик вспоминает, что мама тоже запирается на ночь на щеколду и тогда уже не попадешь домой с ключом. Тоже, думает он, никто их не собирается грабить... Он вздрагивает от каждого нового лязга. Вздрагивает раньше, чем понимает, что это не та дверь, за которой он следит, а какая-то другая.

Кто-то подошел к его двери. Мальчик слышал шаги.

Вот сейчас... раскроется дверь — и выйдет она...

Так же, только громче, загалдели крючья.

Значит, они все останутся там на ночь. Неужели и она...

Мальчику захотелось броситься на дверь, врываться — увидеть.

Шаги отошли от запертой на ночь двери.

...Вот он врывается — она там — он смотрит на нее взглядом и говорит ей резкие, гордые слова, полные жестокой правды. Она рыдает, она просит прощения. Ползет на коленях, обнимает ему ноги. Но он стоит, бледный, красивый, и ничто уже не может разжалобить его. Ничему он уже не поверит. И он уходит. А она рыдает, плачет...

Плачет... Мальчик видел один раз, как она плакала. Тогда она тоже опоздала и пришла в слезах. Говорила, что ее обидел брат, и только один он у нее, мальчик... Мальчик вспомнил, и ему стало очень жалко ее. Засвербило в носу.

Он отогнал это и остановился на том, что только что воображал себе. Усмехнулся: детство, глупости... Ведь если и ворвешься... а вдруг ее там нет. Что он скажет тогда этим удивленным людям? Куда денется? Мальчик покраснел, так остро ему представился стыд подобной минуты...

Да и как ворвешься?

Да... но как-то надо решать. Что-то надо делать... Звонить уже неудобно, поздно. Но как узнать? Он снова спустился вниз, к телефону. Лад-

но, он сейчас позвонит. Если подойдет она — все в порядке, если нет... ну, тогда он повесит трубку. Подошел тот же грубый голос. Мальчик бросил трубку. И сердце стучало в какую-то пустоту, словно сорвавшись.

На батарее тепло. Скандал дома уже не станет больше. Даже меньше. Маму жалко... Последнее мелькает в голове, как маленький серый и пугливый зверек, и сразу исчезает. Мальчику тепло. По телу бегают сладкие мурашки. Все гудит немножко. Не шевельнуться — неохота. Прикроешь глаза — запрыгает в черноте точка, светлая, зеленая, — след лестничной лампочки...

Вот он лежит больной и умирает. Бледный, худой. Она находит его наконец. Приходит к нему. Плачет. «Не плачь, я всегда любил тебя. Ты ни в чем не виновата». Она плачет, умоляет: все будет иначе. «Нет, для меня уже ничего не будет...»

...Прошли годы. Вот он приходит к ней. Его мужественное лицо несет следы пережитых трудностей, приключений. Густые кудри, падающие на лоб, не могут скрыть глубокий шрам. Седые кудри... Такой молодой и уже седой... «Поздно, все поздно», — говорит он. И уходит. Она рыдает. А он идет по залам, залам, открывает двери, двери...

Когда мальчик проснулся, то почувствовал озноб. Было холодно. И не холодно, а зябко. Мальчик несколько раз резко отвел руки в стороны, попрыгал — разогнал кровь.

Как-то все глупо получилось, думал он. Надо было предупредить маму. Или, даже лучше,

вообще не выходить вечером, а прийти сюда вот сейчас: все равно ее не было, и все это время он проторчал тут зря. Прийти сейчас и начать ее ждать. А маме сказать... маме что-нибудь сказать такое. Глупости. Надо было идти домой сразу. А сейчас?.. Сейчас ночь, два часа, третий. И надо узнать.

Мальчик сидел на батарее, вбирал голову в плечи, дышал себе под свитер.

И уже ни о чем не думал.

Три часа ночи.

Четыре.

Тупо ждет мальчик. Задремывая иногда, просыпаясь в ознобе. Он уже все знает про эту лестницу: про трещину на стене, похожую на быка, и другую, похожую на Марию Степановну, про то, что Минька — жук и Валя — дура, и про эту дверь, его дверь, какие на ней звонки и как отстает в правом углу войлок...

Шаги. Голоса. Два голоса. Звякнула щеколда. Это его дверь.

Дверь приоткрылась.

Она!

Мальчик вскочил с батареи. Она взглянула, отпрянула назад. Захлопнулась дверь. Все это как-то слишком быстро: мелькнуло и исчезло. Мальчик недоумевал. Сердце колотилось от неожиданности и от того, что он так поспешно вскочил, а перед тем долго сидел неподвижно. За дверью голоса. Мальчик силится разобрать. И ему слышится, что там голоса, мужской и женский, ее голос. Мальчик уже уверен, что этот шум, эти два шума — это их го-

лоса. Как они явно слышны... Как громко! Слова ширятся, растут, сползают на мальчика...

Замок снова щелкает, и дверь открывается.

Парень, тот самый парень, выходит, пятясь, что-то говоря кому-то. Ей! Мальчик стоит у батареи и смотрит. Парень развернулся кругом. Пошел. Дверь за ним закрылась. Мальчику показалось, что опять мелькнула ее фигура. Щелкнула задвижка. Парень спускался по лестнице. Ближе к мальчику, ближе. Поравнялся. Взглянул на мальчика. Что было в этом взгляде! Мальчик похолодел: чего только в нем не было... Парень миновал, ниже, ниже. Мальчик смотрел ему вслед. Когда парень повернул на следующий марш, то взглянул вверх на мальчика. Любопытство во взгляде.

Шаги парня таяли в глубине.

Мальчик снова уселся на батарею. Закусил губу. Теперь-то уж он дождется. Теперь он знает, что она — там. Он дождется и скажет ей все.

— Я убью ее. Убью! Убью! — повторял мальчик.

В полшестого хлопнула первая дверь. Кто-то пронесся по лестнице, застегиваясь на ходу. Потом двери хлопали все чаще. Выше и ниже, чем стоял мальчик. Двери хлопали по нескольку раз.

Сначала спешили рабочие. Они проходили мимо мальчика деловито, не меняясь в лице. И он был им благодарен.

Потом служащие. Эти плыли, с сумками — женщины, с портфелями — мужчины. Эти пялились, а некоторые оборачивались. Некоторых мальчик узнавал: вчера вечером они поднимались и раз-

глядывали его с любопытством. Теперь их взгляды сочлись любопытством, изнывали вопросом...

Я убью ее!

Мальчик съеживался. Мучительно делал спокойное и равнодушное лицо. Но стоял мужественно, закусив губу.

Двери хлопали во времени по определенным законам. Волнами. По рубежам получасовым и часовым. Волны нарастали, в какой-то момент достигали и потом сходили на нет на последних мчащихся, жующих на ходу людях. Потом наступала передышка. Мальчик расслаблялся и сразу чувствовал себя уставшим без меры.

Два раза хлопнула его дверь. Но это были просто жильцы, не она. Мальчик боялся, что они узнают его. В первый раз он отвернулся к окну и пробовал безразлично насвистывать. Во второй раз сделал вид, что спускается вниз, как будто из другой квартиры.

Без десяти девять схлынула последняя волна.

В полдесятого, с сумками, бутылками, бидонами, стали спускаться домохозяйки. Но мальчик уже устал сжиматься при каждом прохожем. И стал действительно равнодушен к ним.

Когда же она наконец выйдет? — тупо повторял он про себя. Уже не так остро и мучительно ждал он. Просто — скорее бы кончилось. Но уйти он уже не мог.

Волна домохозяек тоже схлынула.

Он подумал, что, если еще простоять часа два, начнут подниматься вверх.

И совсем уже неожиданно заговорила его дверь.

Она вышла.

Спокойная, красивая... Какая красивая!

Начала спускаться. Увидела мальчика. Узнала. Улыбнулась. Как хорошо она улыбнулась! Но нет, его теперь не обманешь...

— Ах, это ты, мой мальчик! — сказала она. — Милый, так ты все время ждал меня?

— Да, — сказал мальчик. Голос его дрожал, и он глотал спазмы. — Да. Ты была там всю ночь. Я ждал тебя под аркой — ты не пришла. Потом, когда звонил сюда, ты велела сказать, что тебя там нет. Ты знала, что я здесь... А ночью, в четыре часа, ты открыла дверь, увидела меня и спряталась. А вышел тот парень. Я знаю все!.. — мальчик сорвался.

— Хороший мой, — сказала она ласково и тихо, — все было не так. Не так, как ты говоришь. Я не смогла прийти вовремя к арке: так получилось, и я не могла иначе. Я не знала, как тебя предупредить об этом. Я пришла сюда много позже. Когда ты меня спрашивал, я еще не пришла сюда, меня не было. А потом, когда я поднималась по лестнице, не было тебя. Я думала, ты не дождался.

— Я все время был на лестнице!

— Нет, милый, не все время! Нет, хороший мой.

— Не зови меня так. Ты там пробыла всю ночь. С этим парнем...

— Глупый... Я должна бы на тебя рассердиться. Глупый... Просто было поздно, и я осталась ночевать у подруги, понимаешь? А парень этот —

ее брат. Мы учились вместе. Он уехал этой ночью. Далеко.

— Нет, — сказал мальчик.

— Милый, хороший, славный... Все было так, как я говорю. Ну, чего же мы стоим тут? Пошли. Ты что, так тут всю ночь и просидел? Что, наверно, у тебя дома творится!..

— Чепуха, — сказал мальчик.

Она засмеялась.

Они вышли.

— Иди, — сказала она, — иди, мой мальчик. Завтра.

Мальчик шел домой. Тут было недалеко. Серый, теплый, туманный день. Все было каким-то неверным от тумана. И дома, и машины, и люди. Все вдруг возникало и вдруг исчезало. Легкое, невесомое. Словно приснившееся.

И само тело было тоже легкое, невесомое. И мысли.

Приятно гудело внутри. Где-то там притаился сон.

Так, шагал мальчик, так. Так оно и было, как она говорит. А я свинья. Я перед всеми виноват. И дома. И перед ней. Свинья. Все именно так и было.

Ноябрь, 1960

ЮБИЛЕЙ

Ночью он, как обычно, проснулся и, лежа на спине, разглядывал призрачный отсвет на потолке. Он, как всегда, подумал, что до сих пор может понимать этот отсвет, и радоваться ему, и ощущать таинство почти так же, как в детстве. Просто смешно, но даже сейчас, если не глядеть на пергаментную грудь и руки и не двигаться, то есть не чувствовать слабость, а так вот спокойно и прохладно лежать и смотреть в потолок, он мог представить себя ребенком. Когда одеяло почти не давит, и не жарко, и ты один, а на потолке тот же отсвет, — это было



точно то же ощущение, как в детстве. И если так смотреть на потолок, а потом закрыть глаза, он мог словно бы перемещать себя по комнате и поворачивать кровать: то он лежит головой к окну, то к двери, — и тогда: то он лежит лицом в комнату, то к стенке. А на самом деле он лежит и лежит себе на спине и не шевелится. И если так себя покрутить, то и действительно уже не представить, как ты лежал на самом деле. И тогда приходила мама, молодая, с высокой прической, и тихо гладила ему волосы и лоб, а он, не просыпаясь, чувствовал это. Ощущение было таким точным на этот раз, почти резким — он открыл глаза и медлил повернуть голову и посмотреть: не то что боялся, а слишком странно было так точно и резко почувствовать прикосновение. Он все-таки повернул голову — утонули в темноте книги, темной массой стол — и вздрогнул: все цветы, цветы — корзины, много — белели и темнели в ряд на полу и выше, в ряд, на табуретках.

Он похолодел, но не сильно, и его поразила мысль, что он умер. А цветы — ему. Он лежит, ему не холодно, не жарко, не тяжело — как-то неощутимо ему. Все ушли и погасили свет.

*Писатель Борис Карлович Вагин
- умер на 71-м году жизни*

После юбилея — это уже не оригинально, подумал Борис Карлович.

Началось это с неделю назад. С того самого телефонного звонка. А потом визита. Представитель наседал и наседал. Борис Карлович вяло отказывался.

ва́лся — представитель чувствовал это и наседал сильнее. Собственно, и раньше Борис Карлович слышал об этом юбилее. Теперь он понял, что и тогда опасался его и именно поэтому не думал о нем. Борис Карлович относился никак к этому юбилею, словно это был чей-то чужой юбилей, но то, что юбилей был все-таки его, вселяло в него страх. Из той мерной и отчужденной жизни, в которой он так давно находился и которая была ему по-своему дорога, внезапно возвращаться совсем в другую жизнь было нелепо. К тому же он не знал новых людей. Во всяком случае, этого бодрого молодого представителя Борис Карлович не понимал совсем.

Это празднование казалось Борису Карловичу теперь столь же нелепым, как если бы он, к примеру, надел сейчас короткие детские штанишки. Но пугали его не штанишки, а тот жесткий, окостеневший парадный костюм, который много лет висит в далеком шкафу и который придется надеть. И то, что соберется много вот таких громких и бодрых людей, будут говорить и тормошить и есть будут много. И конечно же, они преследуют этим какую-то цель, но какую и зачем — это тоже было непонятно Борису Карловичу. И он вяло и робко отказывался. Так, что представитель вдруг стал совершенно уверен, и что-то довольное и плоское появилось в его глазах. А Борис Карлович хотел, уже больше всего хотел, чтобы кончился этот разговор, такой бессмысленный. И вдруг почувствовал, что гораздо легче согласиться, потому что юбилей еще через неделю, а разговор — сейчас. Что это вы-

ход.— согласиться. И так ему стало легко, что этот чужой человек ушел, что впереди неделя, удивительная неделя, потому что он вдруг почувствовал время. И как это оказалось просто.

Два дня он чувствовал облегчение, был ласков и приветлив, и домашние рассуждали между собой о том, что, какое счастье, всякая несправедливость кончается и вот старику радость.

На третий день Борисом Карловичем овладела суета, и он злился на эту суету, и домашние говорили о том, что, естественно, старик нервничает, что это понятно, и были предупредительны и чутки. А нервничал Борис Карлович потому, что представил: уже скоро — и сердился на себя за это. Он сердился на домашних за их предупредительность и чуткость, и они становились еще предупредительней и чутче. «Уехать, что ли», — подумал он. Но нужно было одеваться, добираться до вокзала, садиться в электричку. . . И потом возгласы невестки: «Какая радость! и неожиданность!» И потом это легкое журение, что как же это он никого не предупредил и так сам, один и не ценит своего здоровья. И все придет в движение. Все будет ненормально как-то. . . Он не поехал. А предупредительность и чуткость домашних так утомили его, он так устал, что успокоился.

И дальше его не покидала ровность и успокоенность, и все домашние радовались за него. И ему было приятно, что он успокоил домашних, что это так просто, чтобы никто не беспокоился за тебя. Тогда же его навестила внучка с мужем, и они ушли совершенно очарованные стариком. И на про-

шание он поцеловал внуку в лоб, чего обычно не делал.

Были и звонки, приглашения, предложения. Борис Карлович со всем соглашался, но все относил после пятницы, после юбилея: видите ли, очень занят. Ему доставляло даже какую-то радость относить все дела на неведомую субботу, которая после пятницы, и смотреть, как эта суббота превращается в невысказанный ком. Потом он развлекал себя тем, что относил некоторые дела даже на юбилейную пятницу, и эта несовместимость смешила его, он смеялся прямо в телефонную трубку, такой милый, доброжелательный старик.

Было послезавтра. Это было очень много времени — послезавтра. И было завтра. И времени, казалось, оставалось еще больше, потому что оно и действительно было очень коротко.

И была ночь. Был отсвет на потолке. И это было астрономически сегодня, хотя вообще-то еще можно было поворить себе: завтра.

Он уже больше не уснул. Его не раздражало, что он не может уснуть. Он лежал на спине, рассматривал полосатый отсвет, и тот бледнел и таял, и наступало то утро, когда он уже не мог сказать себе: завтра. Ему было легко одному. И он понимал, что пока он еще один, это еще не завтра.

Ну и схожу я на этот юбилей, рассуждал он, господи, ну что в этом такого... Раз они не понимают, что это лишнее, самое простое — согласиться и сходить. На это уйдет гораздо меньше сил. В конце концов у меня и нет этих сил, на сопротивление. Так что даже выгоднее — пойти.

Пробился солнечный луч, и тогда тихо приоткрылась дверь, и в комнату неуклюже протиснулась домработница Маша. О том, что завтра уже наступило, ее появление говорило даже настойчивей, чем солнечный луч. Борис Карлович хотел было закрыть глаза и притвориться спящим, но как-то так этого и не сделал, и Маша видела, что Борис Карлович, Карлыч, проснулся. «Сейчас начнется то, чему ее научили», — удрученно подумал Борис Карлович, представляя себе, как она начнет ухаживать. Ему всегда казалось, что добросовестная Маша так ничему и не научилась, а научилась только тому, чтобы показывать, как она исполняет все то, чему ее учили. «Сейчас начнет ухаживать, ходить за», — подумал Борис Карлович, но услышал нечто совсем другое:

— Можно мне сегодня пораньше... — говорила Маша, потуплялась и все терла, терла руки о фар-тук.

То, как на него это подействовало, было неожиданным для самого Бориса Карловича. Он вдруг жалко подумал, что вот, вот никому не нужен... рассердился на себя за это и сказал:

— Нет. Сегодня надо вытереть книги.

Тогда он рассердился, при чем тут книги: они же ни при чем, — и сказал:

— Сама знаешь, какой сегодня день.

Маша вышла. Но фраза «сама знаешь, какой сегодня день» окончательно выбила Бориса Карловича из колеи. Ему было стыдно этой фразы. Он знал, что Маша сейчас снова войдет, уже под предлогом. И точно, она снова неслышно и неуклюже,

как-то тем более неуклюже, потому что неслышно, появилась в комнате.

— Может, вам кофейку...

Как она отвратительно здорова, раздраженно подумал Борис Карлович.

— Нет, я сам, — сказал он, — я сам все сделаю. Ты уходи, уходи.

Маша растерянно смотрела на Бориса Карловича, и лицо ее все круглело.

— Совсем уходи, тебе ведь надо... — Борис Карлович почувствовал какую-то слабость и отвернулся, чтобы не видеть Машу.

Тотчас он услышал, как она часто затопала по коридору и опять по коридору, и хлопнула дверь.

Все скорей, скорей, подумал Борис Карлович.

Он полежал еще немного.

Так нельзя, сказал он себе, надо подбраться. Сейчас встану, смелю кофе, попью... Эти первые дела были ясны Борису Карловичу, но, следующие стояли сомкнутым строем, и было непонятно, что же следующее. — Надо же и просмотреть наконец, что написали про меня в газете.

Он встал. Оделся. Забрал со столика газету, которую давно уже приготовили для него домашние. Прошел на кухню. Но кофе был уже весь намолот, и заваренный кофейник стоял на плите. Он почувствовал разочарование, словно больше всего ему хотелось именно приготовить кофе самому. Конечно же, кофе был сварен не так, как надо.

Он вышел из кухни и забыл там газету.

Прошел в кабинет. Все лежало на своих местах. Он чуть подвинул чернильный прибор. И снова пе-

редвинул на прежнее место. Посмотрел на книги. Надо обязательно вытереть пыль, подумал он. Провел пальцем по корешкам. При чем тут пыль... подумал он.

— Надо подобраться, — снова сказал он себе. — Ведь уже сегодня...

И тогда он окончательно понял, что вдруг наступила пятница. Раньше она была далеко, и даже в четверг она была еще далеко — ее не было. И вот, вдруг.

Вот что, надо выйти подышать, сообразил Борис Карлович и очень обрадовался этой идее. — Я вполне успею, я могу выделить на это целый час.

Тут раздался телефонный звонок. Борис Карлович подошел и долго слушал. И вдруг засмеялся.

— Знаете что, — сказал он и хихикнул, — мы это можем сделать прямо сегодня. — Он снова хихикнул. — Приходите сегодня на юбилей. Мы там поговорим.

Посмеиваясь, он заставил себя надеть пальто. Шляпа упала за столик, и он долго доставал ее оттуда.

Он спустился и попал в сквер.

В центре сквера была площадка, вокруг которой стояли скамейки, а посередине ящик с песком. Борис Карлович выбрал себе скамейку в тени, сел и стал рассматривать детей. Дети были маленькие, спокойные, без крика. Дети понравились Борису Карловичу. А на скамейках сидели бабки и няньки, грелись, разговаривали, окликали детей, и тоже все было спокойно.

Очень толстый мальчик с раскосыми глазами стоял у ящика на четвереньках и цеплялся за игрушечный грузовик. С другой стороны грузовик тянул мальчик худенький и подвижный. Рядом с ними стояла девчушка, еще младше. Она выглядела нарядно, в свитере и брючках. Толстый что-то медленно ныл. Второй деловито отнимал. А девчушка стояла над ними с лопаткой в руках и смотрела то на первого, то на второго.

Она хочет стукнуть толстого лопаткой, подумал Борис Карлович.

Девчушка медлила.

Наконец она не выдержала, зачерпнула лопаткой песку и высыпала на берет стоявшему на четвереньках толстяку.

Я почти угадал. Это то же самое, что стукнуть, обрадованно подумал Борис Карлович. — Это мне понятно. Это я все знаю.

Девочка сыпала песок на толстого.

Толстый не реагировал.

Он настолько толстый, что не может плакать, подумал Борис Карлович.

Кто-то на скамейках прикрикнул на девчушку.

А ведь в ней не было злости: такая оживленная мордашка. Просто ей интересно: что будет, раз он такой толстый. Или ей неприятно, что он такой толстый?

Девчушка поняла, что удовольствие кончается и черпать песок уже некогда, и она несколько раз стукнула толстяка лопаткой по берету. Толстяк опять не плакал,

Вот, я был абсолютно прав: она хотела стукнуть его лопаткой.

Грудастая распаренная нянька рассерженно подбежала к толстяку: Выдернула его из песка, как редиску, и поставила на дорожку.

— Опять сидишь! — говорила она. — Врач тебе что сказал: ходи!

Толстяк вяло ныл и не хотел уходить и тяжело шел по дорожке, подталкиваемый нянькой. Когда они проходили мимо, Борис Карлович заметил, что у мальчишки, несмотря на тучность, очень славная живая морда и что нянька незаметно щиплет его за руку.

— Ходи, ходи, — сказала нянька и вернулась к своему солдату.

Девчушку в брюках увели молодые родители, и она увезла за собой грузовик с песком, а сзади, грустно глядя на грузовик, шел худенький чужой мальчик.

Потом он вернулся и подстроился к мальчишке, игравшему с самолетом. Через минуту он уже завладел самолетом. Мальчик бегал, держа самолет в отставленной руке: мальчик планировал, мальчик набирал высоту, мальчик входил в штопор.

Борис Карлович почувствовал, будто у него в руке самолет и это он планирует и набирает высоту. Он даже ощутил самолетик в своей руке. И понял, как можно слиться с этой железкой в одно.

Да, здесь я все понимаю, еще раз подумал Борис Карлович.

Потом он подумал, что вот, надо их вырастить и надеяться, что они будут иначе. Что они смогут жить как люди чуть дольше, чем только в детстве. Да, все для этого, подумал он. Иначе — для чего же?

Появилась девочка со щенком. Она гордо прошла мимо ящика и села на скамейку. Худенький мальчик бросил самолет и уставился на щенка. Девочка гордо смотрела на мальчика и независимо сидела на скамейке.

Да... Кто же скажет, что щенок не лучше ящика с песком... Это очевидно, подумал Борис Карлович.

Но щенку надоело сидеть с девочкой, и он подбежал к ящику. Все стали его гладить. Девочка ревниво покрутилась на скамейке, не выдержала, подбежала и забрала щенка.

Щенок опять убежал к ящику.

Девочка разнервничалась, стала тормозить щенка, сердиться на него.

Тут уже что-то взрослое, подумал Борис Карлович.

Но тут появилась старшая сестра, сделала внушение, забрала щенка и отправилась домой. Девочка разочарованно пошла за ней.

Борис Карлович представил, как она тайком забирала щенка, тайком выбегала на улицу и чем была для нее эта самостоятельная прогулка со щенком. И он рассердился на старшую сестру: эта взрослая, а не та.

И Борис Карлович заметил, что уже трижды мимо него, потупляясь и поглядывая, прошел один и тот же молодой человек. Все еще умиротворен-

ный, Борис Карлович ласково посмотрел на него и подумал про него то же: славный. Тогда, поймав взгляд, молодой человек подошел к Борису Карловичу, покраснел и сдавленным голосом сказал:

— Извините, что я так прямо, я бы не стал, но я, извините. . .

— Да,— что-то осознав и сжавшись, сказал Борис Карлович.

— Ведь вы Борис Карлович Вагин! — сказал молодой человек.

— М-м-м. . . — как-то неопределенно и испуганно промычал Борис Карлович.

— Я так хотел познакомиться с вами. Ваши книги. . .

Борису Карловичу стало стыдно. Жгуче, обидно стыдно, как бывает разве в детстве.

— Очень хорошо, да, — сказал Борис Карлович.

— Мне очень хотелось. . .

Борису Карловичу стало еще стыднее. Но тут он вспомнил и очень обрадовался тому, что вспомнил.

— Вот что, — сказал он живо, — приходите сегодня на мой юбилей.

Довольный, молодой человек ушел. Борис Карлович облегченно вздохнул.

Не понимаю, подумал он неприязненно. И тут заметил, что молодой человек возвращается. Что ему еще нужно?.. Борис Карлович закрыл глаза и притворился спящим.

Странно, думал он. Ведь все это я сделал так давно. . . И что это случилось с ними вдруг?! Вот

Саша. . . Ведь он лучше меня умел. А о нем не вспомнили. К чему все это? Мне уже ничего этого не нужно. Это все не мое — а их. Как они этого не поймут! И жизнь моя — это тоже у них. И они не дают мне жить. Господи, ведь и этого не понимают, что стариков щадить надо! Что вообще оставлять в покое хоть когда-нибудь — надо. Что это потребность. . . Что им еще от меня нужно! Все ведь и так останется им. И собрание сочинений и все — ничего этого мне не нужно.

Через четыре часа, — подумал он, — и уже идти. . .

Он испуганно разогнал мысли и задремал.

Когда он открыл глаза, толстый мальчик, и нянька, и солдат — их уже не было.

Были какие-то новые дети.

Солнце передвинулось, и его скамейка выплыла из тени. Тепло было ласковым, обнимающим. Борису Карловичу даже показалось, что стало менее душно. Пригревало все сильнее. По дорожке шла женщина, прижав к груди два батона. Когда она приблизилась к Борису Карловичу, у нее выскользнул один батон. У Бориса Карловича екнуло в груди, как всегда бывало, когда он ронял что-нибудь сам. Женщина наклонилась за* батоном, и у нее выскользнул второй. Борису Карловичу показалось, что батонов очень много и они все сыплются, сыплются. . . Все поплыло перед глазами. Борис Карлович знал, что надо встать и перейти в тень. Но встать-то больше всего и не хотелось. «Завтра, — подумал он, — еще не сегодня. . .» Больше всего хотелось закрыть глаза. Закрыв. Тогда захотелось

откинуть голову. Откинул. Голова сразу закружилась. Солнце ударило в веки. Розовое, все розовое. Гладкое. Рука поползла вниз, задрался рукав. Борис Карлович чувствовал, как нагреваются на солнце часы. Хотелось устроиться поудобнее, чтобы все нашло свое единственное место. И рука, и голова, и ноги. И вдруг Борис Карлович почувствовал, что ему стало удобно. Так удобно, что ничего уже больше поправлять не надо.

— Спроси у дедушки, сколько времени, — сказали на соседней скамейке.

Сердце болтнулось в груди Бориса Карловича. Еще четыре часа! хотел крикнуть он. И вдруг сердце оборвалось, поскакало, запрыгало куда-то вниз. В прохладу. Ему стало прохладно. Сердце прыгало вниз, как по лестнице. Он почувствовал себя снова маленьким, совсем маленьким мальчиком прошлого века. И вот с шумом бегут вниз по откосу ребятишки. Вот и он, Боря. Они бегут, катятся кубарем по песку — и в воду, в воду... Вода обнимает прохладой. Все как-то заходитя внутри. Вода по щиколотку, по пояс, по грудь... На бьющееся, разгоряченное сердце.

— Дедушка, дедушка, сколько времени? — настаивал мальчик.

А с соседней скамейки кричали какими-то странными голосами:

— Вова! Вова!! Иди обратно!

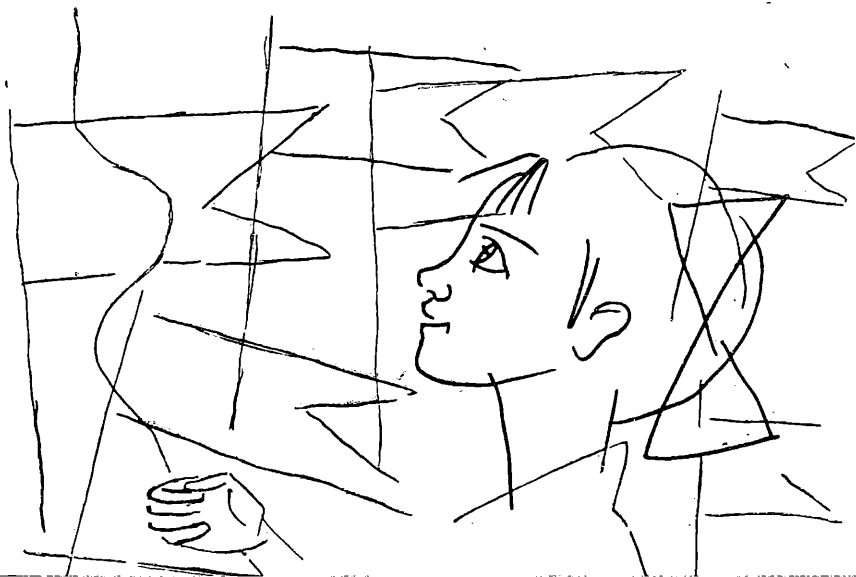
Май, 1960

БОЛЬШОЙ ШАР

Инге Петкевич

Папа брился. Делал он это обстоятельно. Он оттягивал пальцем кожу на взмыленной щеке, проводил бритвой, трогал пальцем выбритое место, вытирал бритву и палец о газету, и снова. Он надувал то левую щеку, то правую, вбирал нижнюю губу и при этом еще пел. Папа гладил брюки. Он плевал на пальцы и шлепал по брюху утюга, он фыркал на брюки и при этом пел.

Тоня была как на иголках. Она сидела на краешке дивана, положив руки на колени и выпря-



мив спину, всем своим видом показывая, как она «терпеливо ждет». Любимец, довоенный еще пупс, безногий и черномазый, лежал за ее спиной сиротливо и неприкаянно. Тоня сидела, а потом вскакивала, подбегала к окну и, вспрыгнув, ложилась на него животом. Окно выходило во двор, и там было серо и пусто. Выше было голубое-голубое небо. А во дворе было от этого вовсе пусто. Пробежал мальчишка, пища в «уйди-уйди». И скрылся в подворотне. Из подворотни доносился гул. Волнами.

Тоня сползла с подоконника и снова примостилась на краешек дивана «терпеливо ждать». Папа, уже в брюках, начинал карманы. «Когда же я куплю пиджак?» — сказал папа, надевая побуревший китель. Он еще раз посмотрел на себя в зеркало, почему-то насупилсь, поджал губы, сдвинул брови и, сохраняя это суровое и красивое лицо, повернулся к Тоне, искоса еще поглядывая в зеркало, и сказал: — Ну, пошли, Антон.

Они вышли из подворотни и остановились, привыкая к свету и шуму. Бесконечной серой лентой, а выше — красные пятна лозунгов, а выше — очень голубое небо, тянулась по улице демонстрация. И как берега — люди, никуда пока не идущие: смотрят на демонстрантов. Солнце лилось на Тоню и папу, и они шурились. И рыжие Тонины волосы горели на солнце. Папа посмотрел на нее и сказал: — Ты у меня сегодня как флажок.

Он еще постоял немного, глядя на демонстрантов, и заторопился. Рядом с домом был садик, и туда он отвел Тоню. Это был очень удобный садик:

в двух шагах, и ребенок на воздухе, и в безопасности, и не надо улицу переходить.

— Ну, Антон... Ты тут погуляй. А я схожу, мне надо. В одно место.

И повернулся. И пошел.

Ушел, и Тоня сразу услышала: «Лиса! Лиса Патрикеевна явилась!» Подскочили мальчишки и за косу дернули, и она кого-то за нос, и звали прыгать на аэростате. Но это все было неинтересно сегодня: и аэростат, который, полуспущенный, лежал огромной пухлой лепешкой на пустыре, за развалинами, и на котором так здорово было прыгать, и сами развалины, которые начинались сразу за садиком. И Тоня снова очутилась на улице.

Колонны шли и шли. А на тротуаре шла торговля. Слева продавали красно-зеленые бумажные шарики на палочках, справа две цыганки, торговавшие шарами, ссорились из-за шаров. Вернее, из-за жалкой синенькой шкурки, которую можно надуть, и она станет синим шаром. Они тянули шкурку в разные стороны, дергали, то одна, то другая, словно пилили.

— Это мой шар!

— Нет, не твой!

— Это не твой шар!

— Нет, это мой!

Шкурка лопнула. Нет шара.

И тогда они ссорились из-за места: чье оно, кто из двух первый пришел и кто раньше его занял. И тоже не могли договориться.

Колонны шли и шли. Тоне очень захотелось идти со всеми вот в такой колонне. Может, нести

что-нибудь, а может, петь. Но главное, идти в колонне. Тут, правда, все незнакомые люди. И Тоня колебалась. Вот сделает шаг — и она уже в колонне и идет со всеми. И она не делала шага. И сердце колотилось от этого часто-часто. Только шаг...

Трень-бом-динь! — словно где-то далеко зазвенел колокольчик — и Тоня уже в шеренге и идет со всеми. Никто не удивился и не спросил ничего. Она шла с этими многими незнакомыми людьми, и от этого что-то прыгало внутри радостное, щенячье и ей самой хотелось прыгать. Но Тоня не прыгала.

И тут сбоку, обгоняя колонну, прошел, с вполне серьезным видом, солдат... и было с ним что-то удивительное! На голове был шлем с наушниками, за плечами металлический ящик (сразу видно, сложный-сложный аппарат), а от ящика вверх — железный прут, он торчал над головой. Солдат шел в таком виде, серьезный и важный, и был он как человек, на которого смотрят: ничего не видел вокруг. Он прошел, как не из этого мира, погруженный во что-то, сбоку колонны, обгоняя. Трень-бом-динь! — прозвенело где-то внутри Тони и в то же время словно издалека, и она тоже обгоняет колонну сбоку, следом за солдатом.

Она с трудом попевала за ним, сталкиваясь с демонстрантами, обегая их и боясь почему-то, что он ее заметит. Так они двигались некоторое время вдоль колонны, как вдруг солдат свернул на боковую улицу. Она была безлюдна, а после такого многолюдья казалась особенно пустой и

тихой. Солнце делило улицу вдоль: одна сторона была залита им, на другой — уступами — резкие тени. Они шли по теневой, и странной казалась другая — светлая, и пустынность, и тишина, и флаги от дома к дому — тоже казались странными. Солдат стал переходить на солнечную сторону и вдруг заметил метнувшуюся за ним Тоню. Он приостановился — и Тоня остановилась, не зная, куда деться на этой пустой улице и что теперь будет. «Что тебе, девочка?» — сказал солдат и отогнул один из наушников. Тоня молчала. Солдат засмеялся и полез в карман. Достал что-то, повертел в руках. «На», — протянул он Тоне. Тоня отступила и недоверчиво на него посмотрела. «На же, бери, — еще раз сказал солдат и шагнул к ней. — Это твои волосы». Тоня испугалась и машинально взяла, все еще глядя ему в лицо. За его головой колебался железный прут. Солдат засмеялся и пошел. Тоня посмотрела, что у нее в руке. Это была маленькая катушка с рыжей проволокой, тоненькой, как волосок, и шелковистой. Тоня подняла голову и искала глазами солдата. Он уже был довольно далеко и тут свернул в подворотню большого серого дома. У самой подворотни он обернулся, увидел Тоню и помахал ей рукой, а издали — словно поманил. И скрылся. Тоня медленно подошла к дому. В подворотне были громоздкие деревянные ворота, сплошные, пригнанные. Тоня стояла и разглядывала их. Она видела полоску посередине, где разделялись створки, и прямоугольник внизу одной из створок (наверно, туда и скрылся солдат). И тут в другой створке откинулось маленькое окошко, и

оттуда выглянул кто-то и сказал: «А тебе что тут надо? Проходи, пацанка, проходи...»

Тоня испугалась и побежала, свернула в какую-то из улиц и еще раз, и перешла на шаг. Со всем успокоилась и шла по какой-то незнакомой улице, и слева был парк за красивой решеткой, а справа очень длинное здание с белыми колоннами, а впереди купол церкви, и ни одного разрушенного здания не было на этой улице. И ни одного человека. Тоня шла, зажав катушку в кулаке, и поглаживала одним пальцем шелковую проволоку, шла и не узнавала этих мест. Она пыталась представить, в какой стороне находится их улица, по которой она шла с колонной и на которой стоит их дом. И это ей не очень удавалось.

И, может, вовсе это не ее город, такой солнечный, красивый и пустой. А другой, совсем другой... Волшебный. И тут случаются необыкновенные вещи! Такие, такие... Она никак не могла представить, какие... И тогда из боковой улочки вышла женщина, на руках у нее был малыш, а выше... выше... на голубом небе — огромный (таких и не бывает даже!) красный шар. Трень-бом-динь! Трень-бом-динь! — настойчиво и где-то уж совсем рядом с Тоней зазвенел колокольчик. Шар... И золотой кораблик на нем. Шар натягивал ниточку в руках у женщины и рвался вверх.

Трень-бом-динь! Трень-бом-динь!

Тоня и не заметила, как оказалась прямо перед женщиной с малышом и встала. Она и не видела их — она видела только большой и такой круглый и прекрасный шар, а таких больших и не бывает

вовсе. Женщина с малышом тоже остановилась. Так они стояли друг перед другом. «Что тебе, девочка?» — спросила женщина. Она была нарядная и красивая, меховая. «Шар...» — сказала Тоня.

— Как шар? — сказала меховая женщина. — Это наш с Люкой шар. Правда, Люка? — сказала она, боднув своего малыша носом. — Мы его купили. Он нам очень понравился, и мы его купили. — Она говорила уже не Тоне, а малышу: — Люка у нас очень любит такие шары... — Люка сидел на руках у меховой мамы, розовый и равнодушный, как китайский божок, и бессмысленно таращился на Тоню. — Так что, девочка, шар этот — наш. И нам с Люкой надо бежать, потому что сейчас вернется наш па-поч-ка... — И она, еще раз боднув равнодушного Люку носом, хотела уже идти дальше. Но Тоня все стояла перед ней, и — трень-бом-динь! — только самый большой на свете, самый круглый и самый красный шар — только он один и был на свете.

— Что же ты, девочка? Пропусти нас... — недовольно протянула женщина и шагнула на Тоню.

— Тетенька! Тетенька! — закричала Тоня.

— Что, девочка? — строго сказала меховая тетенька.

— А где вы его достали! — сказала Тоня, и «его» почему-то произнесла шепотом.

— А это мы с Люкой сейчас тебе объясним, — вдруг смягчившись, сказала тетенька. — Это ты сейчас пойдешь по этой улице и свернешь по первой улице направо. Пойдешь по ней, а там совсем близ-

ко. Недлинный переулок. Не-длинный... Нет, он ничего себе. Это у него название такое. Там дом такой зеленый. Он один там такой зеленый. Ты сразу его увидишь. У него еще у ворот женщины такие каменные стоят. Вот, пройдешь во двор, и там, прямо, парадная. Третий этаж... А мы с Люкой побежали-побежали. Ух ты, мое сокровище! — боднула она Люку и действительно побежала, но это только несколько шагов, а там пошла. И скрылась.

Тоня быстро и словно во сне нашла и не нашла — угадала и Недлинный переулок, и зеленый дом с белыми каменными женщинами и прошла во двор. Двор был странный. Дом внутри был тоже зеленый, но темный, облупившийся. А в середине двора, огороженные круглой решеткой, кольцом росли большие старые деревья, и были они словно взявшись за руки. А в самой середине был круглый фонтан, а в середине фонтана красивая белая птица. Тоня увидела прямо через сквер парадную и направилась через сквер. Там были скамейки, и они все были заняты. Тоня уже проходила в парадную, как услышала скрипучий голос: «Девочка! Девочка!» Тоня остановилась и обернулась. «Подойди сюда, девочка», — сказала старуха на одной из скамеек. Тоня вернулась. «Ты ведь пришла за воздушными шарами?» — сказала старуха и пристукнула клюкой. «Да», — сдавленно сказала Тоня, изумившись, откуда старуха могла узнать. «Будешь за мной», — сказала старуха. «И вам шар?» — удивилась Тоня. «Мы все здесь за шарами», — сказали люди на скамейках.

Тоня примостилась на деревянную жердочку, окружавшую газон. На газоне лежали прошлогодние бурые листья. Тоня не совсем понимала, что с ней происходит. Она осторожно покосилась на старуху. Та сидела, положив подбородок на клюку. Тоня увела взгляд. Ей было немного страшно. И уже точно, что — трень-бом-динь! — это не ее город, а изумрудный или еще какой-нибудь. И, может, ей все это снится. Она еще раз покосилась на старуху. Старуха была на месте. Говорила что-то соседу. «Сейчас я что-нибудь узнаю...» — подумала Тоня и прислушалась.

— И вот дом горит, — говорила старуха, — а я все вверх—вниз, вверх—вниз. Вытаскиваю, что могу. А сын все не идет и не идет. А на улице темно уже. Только сугробы белеют. И дом горит... И тогда-то он и появился. Черный такой, мрачный... Я выношу — а он принимает. А сына все нет. А я старая, что я с ним сделаю? Я его боюсь. Что ему стоит? Я выношу — а он принимает. Так все и принял. А потом сын пришел, а ничего и не осталось: все тот принял. Только один самовар и остался. Я его в сугроб сунула. Серебряный...

Трень-бом-динь...

«Все правда, — думает Тоня. — Так оно и есть».

— М-да, — говорит сосед. — Тяжелые были времена...

— А сейчас что? А сейчас что? — как-то звонко и скороговоркой напала старуха. — Вот шар — и тот тридцать рублей стоит!..

«Тридцать рублей!» — эта новость пронзила

Тоню. Она как-то и не подумала об этом: таким все странным было вокруг.

Тридцать рублей!..

Тоня вскочила.

— Бабушка! Бабушка!

— Что, деточка?

— А Портовый проспект есть в этом городе?

— А как же, деточка. Совсем рядом. А что тебе?

— Ой, — обрадовалась Тоня, — я там живу!

— Странная девочка, не правда ли? — сказала старуха соседу. — Как выйдешь, деточка, так направо поверни и все иди и иди, все прямо и прямо. Там и будет твоя улица.

— Бабушка, а я успею? — встревоженно сказала Тоня.

— Куда успеешь?

— Я вернусь — шары еще будут?

— Вот уж не знаю, деточка. Этого я сказать тебе наверняка не могу. Не знаю. А ты бегом, бегом...

И Тоня побежала. И тоже очень легко нашла свою улицу. Да, это ее улица. Совсем такая. Народу было по-прежнему много, но колонн уже не было. До дома было еще довольно далеко. Тоня бежала — шар, шар! — и совсем уже еле дыша взлетела по лестнице.

Папы дома не было. В отчаянии Тоня опустилась на диван и тут же вскочила: она же не спешит, опоздает... Помчалась на кухню. Там у плиты, распаренная и сердитая, возилась Марья Карповна. Необъятная, она с легкостью носилась по

кухне, ожесточенно громыхла мисками и кастрюлями, словно те были живыми и на них можно было сердиться. И рук ее почти было не разглядеть, так они мелькали.

— А тебе что тут надо? Уходи, уходи... — не переставая мелькать, буркнула Марья Карповна.

— Тетя Марья, дайте мне, пожалуйста, — жалобно растягивая слова, говорила Тоня, — папы нет дома, вечером он вам отдаст, дайте, пожалуйста... Ну честное слово, папа бы мне наверняка купил, только дома его нет...

— И ходят, и ходят... Чего тебе?

— Дайте мне тридцать рублей до вечера...

— Тридцать рублей! Ишь чего захотела. Так вот вдруг возьми и дай какой-то девчонке... — говорила Марья Карповна, шлепая тесто красными и пухлыми руками. — А зачем тебе?

— Шар такой!.. — сказала Тоня и взмахнула руками какой.

— Воздушный, что ли?

— Ну да, — уже обрадовавшись, сказала Тоня.

— И это тридцать рублей за воздушный шарик! — ужаснулась Марья Карповна. — Тридцать рублей, шутка сказать, дерут-то как! Тридцать рублей-то еще заработать надо... Деньги-то какие!

— Ну, тетенька Марья... Папа вам вечером отдаст.

— Вечером, говоришь? Да и то, какие ж это сейчас деньги!.. Два мороженных — и все деньги. Э-эх...

Она обтерла руки о фартук и вразвалку проковыляла к себе в комнату. Вернулась с красненькой.

— И то, ведь ребенку радость, — говорила она, разглядывая тридцатку. — Праздник ведь... Как же тебя не побаловать, сирота моя несчастная... Ой, горит! Ах ты, господи! — бросилась она к плите, потом к Тоне:

— На, хватай, да беги, пока не раздумала.

— Ох ты, господи, праздник!.. — рычала Мария Карповна, хватаясь за горячую кастрюлю и с громом сбрасывая крышку. — Кому праздничек, а кому...

А Тоня уже мчалась по Портовому проспекту, сжимая в кулаке тридцатку, обегая, протискиваясь, проскальзывая, а иногда попадая кому-нибудь своей рыжей головой в живот.

Зеленый дом. Большие белые женщины. Круглый скверик во дворе. И в скверике никого нет. И старухи нет. «Опоздала, опоздала...» — стучала кровь в голове. Тоня взлетела на третий этаж. Хорошо еще, что сразу ясно, какая дверь. Одна всего. Другая заколочена.

С налету Тоня позвонила. И тут же испугалась. Позвонить в незнакомую дверь — раньше она постеснялась бы, а может, и не решилась вовсе. Тоня еще не отдышалась, и сердце стучало на всю площадку.

Дверь долго не открывали.

Открыла ее полная, дряблая женщина, еще не старая и удивительно белая. Все у нее было вниз: и щеки, и фигура. Казалось, она стекала вниз. Она была растрепанная, запыхавшаяся и белая-белая.

— Что тебе? — спросила она грубо.

— Шар... У вас шары? — сказала Тоня и разжала кулак с побелевшими пальцами. — Вот.

Так она стояла перед большой белой женщиной, держа перед собой на ладонке красненький комок.

Женщина смерила это все: и Тоню, и комок.

— Нет здесь никаких таких шаров! — сказала она и захлопнула дверь.

У Тони немного закружилась голова, все поплыло куда-то вправо, вправо. Что-то внутри с замиранием ухнуло вниз, как в лифте. Тоня ухватилась за перила. Потом из белого тумана выплыли, в обратном порядке, чем исчезали: перила, лестница, потолок, площадка, дверь и звонок на двери. «А как же шар? Самый большой на свете... Самый круглый... самый красный... и золотой на нем кораблик?»

Шара не было. Но его не могло не быть. Это Тоня понимала. И не сходила с места.

Так она простояла около часа. Какие-то люди спускались и поднимались по лестнице, и Тоня отворачивалась от них в сторону. Она хотела еще раз позвонить, но не могла. И только смотрела на узкую щель почтового ящика и в его пять дырочек внизу и тихо приговаривала: «Вот сейчас... откроется... Раз, два, три... Три-и-и... Вот сейчас...» Она достала из кармана катушку, погладила шелковую проволоку и с замедлением: «Ра-а-аз... два-а-а-а...»

За дверью послышался смех, и она распахнулась. Подобранная и веселая, появилась та самая большая белая женщина с мусорным ведром.

— Ты все еще здесь, девочка? — сказала она уже значительно мягче. — Шаров нет. Они были, но все уже кончились. Ты иди домой, иди...

И она стала спускаться.

Тоня не верила. Она гладила шелковую проволоку и уже знала, что шара не может не быть. Когда женщина поднялась с пустым ведром и увидела Тоню на том же месте и встретилась с ней взглядом, она вдруг побелела еще больше и левая щека у нее запрыгала.

— И ты все стоишь?.. — сказала она. — Да я бы сейчас для тебя хоть десять сделала... Но нету. Ах ты, бедная моя... Ну что мне с тобой делать? Ах ты господи!! — вдруг вскрикнула она. — Ведь есть же один, есть! Только с брачком... Бочок у него подгорел... Да ты подожди, я сейчас, сейчас... Мигом. Только надую. Газ еще остался. Ты подожди...

И торопливо она исчезла за дверью и дверь оставила полуоткрытой.

Трень-бом-динь! Трень-бом-динь! — приближался издали звон колокольчика. Ближе, ближе. Что-то разрывалось в Тоне, распирало, и она всхлипнула.

И появилась женщина, неся перед собой огромный красный шар. А вот и золотой кораблик...

Трень-бом-динь!

Тоня, ничего не видя, шагнула с вытянутыми вперед руками и взялась за веревочку.

Женщина улыбалась.

— Бери, милая, бери...

Тоня протянула на ладошке красненький комочек.

Радость исчезла с лица женщины. Какие-то тени прошмыгнули по ее опущенному лицу. Все это в одну секунду. Она взяла Тонину тридцатку и, не поднимая глаз, тихо ускользнула за дверь.

Тоня спускалась. Трень-бом-динь! — звенело в ней. — Трень-бом-динь! Она смотала шнурок и взяла шар руками с двух боков. Еле хватило рук обхватить его. Она слегка сжимала шар и чувствовала под ладонками его, упругого, почти живого. Она слегка нажимала на шар пальцами, всеми пятью по очереди, словно играя гамму, и трень-бом-динь, трень-бом-динь!

Потом она увидела, что шар не такой уж круглый: в одном месте он был словно перетянут ниточкой. И большое рыжее пятно было с одного его боку. Но все это было ничтожно и не смогло ее омрачить. Трень-бом-динь! — это ее огромный красный шар и золотой на нем кораблик!

Она шла по своей улице, улыбалась и ничего не видела вокруг. Шар натягивал шнурок, и, когда она поднимала голову, он плыл над ней, огромный и красный на голубом небе.

— Где это тебе, девочка, достали такой прекрасный шар? — спрашивали ее.

— Это я сама достала, — говорила она.

— Так где же? — говорили ей.

— Там уже нет, — говорила она.

Вот и ее дом. Вот и садик, из которого она вышла утром. В садике на нее со всех концов налетели мальчишки.

«Лиса! Лиса Патрикеевна явилась!» — закричали они. И вдруг замолчали. Может, тоже услы-

шали трень-бом-динь? Тоня стояла в центре, и ее распирала гордость.

«Где это ты его раздобыла?» — тихо и восхищенно сказал один. «В Недлинном переулке», — сказала Тоня. «В Недлинном! В Недлинном! — заулюлюкали вдруг ребята. — Может, в Некоротком? Может, в Нешироком? Может, в Продолговатом?!» — закричали они и запрыгали, загалдели вокруг. Кто-то подпрыгнул и ущипнул шар. Резина пискнула у него под пальцами. Тоня вдруг поняла, что сейчас произойдет, побледнела и отшатнулась. Но сзади тоже были мальчишки. Они тоже прыгали и улюлюкали и хотели ухватить шар. Тоня вытягивала руку с шаром вверх и приподымалась на цыпочки. «Не надо, не надо! — кричала она. — Это мой шар! Мой! Нельзя, не надо!» — Но кто-то уже схватил ее за рукав, кто-то дергал за косу. «Лиса! Лиса!» — кричали они. Тоне стало страшно, жутко. Рука, которую она вытянула с шаром, ныла. И тут Тоня почувствовала, что сжимает что-то в кулаке другой руки. Катушка! «Я вам лучше вот что отдам! Это лучше... Это гораздо лучше!» — сказала она и протянула им катушку с рыжей проволокой. Все с криком бросились на катушку. Тоне чуть не вырвали руку. Но она уже бежала вон, вон из садика — с шаром, с шаром. Он был цел, цел! Она взбежала на свою площадку, задыхаясь, и ключ не лез в скважину, и мешал шар.

Сверху спускалась Элеонора Леонидовна с сыном. Сын закричал: «Шар! Хочу-у!»

— Это девочкин шар, — сказала ему Элеонора Леонидовна. — Разве ты не видишь? Тонечка, —

пропела она, — где это тебе достали такой прекрасный шар?

— Это я сама достала, — сказала Тоня. — И там уже нет.

«Хочу-у! Хочу-у!» — монотонно и равнодушно гудел сын.

— Замолчи, замолчи, — сказала Элеонора Леонидовна сыну. — Ты, Тонечка, скажи где, а мы, может, завтра сходим...

— В Недлинном переулке, а дома номера не помню и квартиры тоже, — сказала Тоня и засмеялась.

— Не шути, не шути, девочка, — сказала Элеонора Леонидовна, — я все-таки как-никак постарше тебя.

— Нет, серьезно на Недлинном. Он ничего себе, только название у него такое. А дом зеленый с большими белыми тетями, и внутри садик, и там фонтан с птицей.

— Стыдно тебе, девочка, — сказала Элеонора Леонидовна и начала спускаться по лестнице.

Тоня справилась с дверью и, обняв шар, внесла его в квартиру. Все, теперь он в безопасности. Марья Карповна, уже совсем вареная, высунулась из кухни.

— А, вот он, голубчик! — сказала она. — Что же это он подгорел с одной стороны? И вон там... — она посмотрела на Тоню. — Ах, и до чего же прекрасный у тебя шар! — сказала она тогда. — Самый лучший... Я таких и не видывала.

Тоня, обнимая шар, осторожно открыла дверь своей комнаты и вошла. Папы еще не было. Она

придавила шнурок утюгом посредине круглого стола, зажгла свет. Шар натянул шнурок и покачивался в центре комнаты, огромный и красный. Трень-бом-динь! — невиданный цветок.

Тоня маршировала вокруг стола, высоко задирая руки и ноги, и пела.

А показать некому: папы все нет и нет.

Комната у них с папой была узенькая и маленькая, и Тоне вдруг показалось, что для шара в ней мало воздуха. Такой он был огромный, этот шар. Она открыла окно, привязала шнурок к шпингалету и выпустила шар на улицу.

За окном он был как флаг. «Теперь тебе хватит воздуха», — сказала Тоня и села на диван. И тут почувствовала, как она устала.

Надо только дождаться и показать... Она сидела и иногда посматривала в окно. За окном покачивался шар, и был он самый большой и круглый в мире.

Тоня совсем уже клевала носом, когда пришел папа.

Он вошел грустный и усталый и сел с ней рядом.
— Как хорошо дома!.. — сказал он.

А Тоня посмотрела в окно — шар! И вся радость, задремавшая вместе с ней, проснулась, и от того, что есть с кем поделиться, возросла вдвое. И она рассказывала, рассказывала...

— Вот и все, — сказала она.

— Ах ты, мой флажок, — сказал папа и погладил ее по голове. — Это самый замечательный шар, какой я видел в своей жизни.

И Тоня уснула, и снилось ей, как в детдоме ей

пришла посылка от мамы. И были там красные штаны. Мама думала, что Тоня все такая же толстая, да еще и выросла за два года, и штаны оказались Тоне очень велики. Они висели ниже колен и торчали из-под юбки. И Тоня шагу не могла ступить из-за этих проклятых индюков. Вот она идет, а они, грозно шипя, медленно отделяются от заборов, и все ближе, и их все больше, со всей улицы. И такие гадкие птицы вытягивают свои голые шеи, и трясутся их противные красные клювы, тянутся к ее штанам. И шипят они все громче и противней. И Тоня бежит. И они бегут за ней, хватают за штаны и больно щиплют за ноги. И шипят. А она не может быстрее — сползают штаны...

И вот они, эти индюки, они же мальчишки с ее двора, они же две цыганки, клюют, прыгают, рвут ее самый большой и самый красный шар.

«Нет! Нет!» — кричит Тоня и просыпается. В испуге смотрит в окно.

Трень-бом-динь!

Папа сидит рядом и смотрит на Тоню. И папа улыбается ей.

И Тоня вдруг вспоминает то, что все время хотела у него спросить.

— Папа, ты знаешь, где Недлинный переулочек?

— Нет, Антон, не знаю.

— И никогда не слышал о нем?

— Нет... А зачем тебе?

Тоня смотрит в окно — и вдруг улыбается. Тому, что знает только она...

Трень-бом-динь!

16 октября 1961

СОДЕРЖАНИЕ

О Д Н А С Т Р А Н А	
(Путешествие Бориса Мурашова)	5

Р А С С К А З Ы:

БАБУШКИНА ПИАЛА	107
ФИГ	116
СОЛНЦЕ	124
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК	130
ЖЕНЫ НЕТ ДОМА	140
СТРАШНАЯ СИЛА	150
ДВЕРЬ	167
ЮБИЛЕИ	182
БОЛЬШОЙ ШАР	196

Битов Андрей Георгиевич

БОЛЬШОЙ ШАР

РЕДАКТОР К. М. УСПЕНСКАЯ

ХУДОЖНИК М. А. КУЛАКОВ

ХУДОЖ. РЕДАКТОР М. Е. НОВИКОВ

ТЕХН. РЕДАКТОР В. Г. КОММ

КОРРЕКТОР А. Г. РАБИНОВА

Сдано в набор 8/IX 1962 г. Подписано
в печать 7/I 1963 г. М 20704. Бумага
70×108^{1/32}. Печ. л. 6^{3/4} (9,25). Уч.-изд.
л. 7,44. Тираж 30 000. Заказ № 1502.
Цена 28 к.

Издательство «Советский писатель»
Ленинградское отделение
Ленинград, Невский пр., 28

Типография № 5 УЦБиПП Ленсовнархоза
Ленинград, Краеная ул., 1/3

Цена 28 коп.

Г

Автор этой книги молод, и молода его первая книга «Большой шар». Пристально всматривается Андрей Битов в мир и солнечно, ярко, жизне-любиво открывает его для себя и для нас.

И герои этой книги молоды. Серьезные мысли и раздумья легко уживаются у них с веселым легкомыслием и мальчишеством. Но это мальчишество не мешает им в нужную минуту поступать со взрослой ответственностью по отношению к миру, к людям, к самому себе. «Можно жить повсюду, — размышляет один из его героев, — изучать языки, и браться за многие дела, и знать много людей... Но всегда, через всю жизнь проходит что-то одно, а остальное — второстепенное...»

Андрей Битов тонко и точно чувствует силу слова, у него гибкий, богатый ритмами язык, щедрая образность. Доброе, доверчивое отношение к миру, к людям пронизывает эту светлую и поэтичную книгу.

Цена 28 к.

ГП

